ИЛЬЯ СУРГУЧЕВ

РОТОНДА

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
ВОЗРОЖДЕНІЕ — LA RENAISSANCE
73, Avenue des Champs Elysées
Париж

ИЛЬЯ СУРГУЧЕВ

РОТОНДА



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
ВОЗРОЖДЕНІЕ — LA RENAISSANCE
73, Avenue des Champs Elysées
Париж

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

«Разсказы», И-во «Знаніе», СПБ.
«Губернатор», роман, И-во «Знаніе», СПБ.
«Мельница», ром., К-во Писателей в Москвѣ.
«Осеннія Скрипки», К-во Писателей в Москвѣ.
«Осеннія Скрипки», К-во Ладыжникова, Берлин.
«Торговый Дом», К-во «Театр и Искусство», СПБ.
«Эмигрантскіе Разсказы», И-во «Возрожденіе», Париж.

(распродано.)

Антверпенскія приключенія

I

Я знаю толк в дождѣ. Посмотрѣв на небо, обложившее Антверпен сизым куполом, разглядѣв стеклянных человѣчков, танцовавших по асфальту улицы, я понял, что этому царствію конец не скоро наступит. Дождь зарядил, самое меньшее, дня на два.

Сзади меня был вокзал. Прямо — линія табачных, мѣняльных и ювелирных лавок. На вывѣсках непонятныя слова, в которых много буквы йот. Чувствуется город богатый, заваленный деньгой, старый: щеки у людей двойныя, осѣдающія складками вниз, и, если матеріал, из котораго сдѣлан обыкновенный среднiй человѣк, стоит на рынкѣ по ученым подсчетам рубль восемь гривен, то антверпенца меньше, чѣм за два двадцать не купить.

Вот, вспыхнули огнем буквы, стоящія вертикально одна на другой: Hôtel. Пришел; ход в отель через пивную. Длинные столы, груды кружек с гербами, пахнет табаком, пивом и сыром. Хозяйка заговорила со мной на французском языкѣ, похожем на латинскій. Скоро я очутился в небольшой комнатѣ без проточной воды. За то у подножія камина была маленькая газовая печь, которую я сейчас же затопил и которая

быстро накалила огнем свой радіатор. От башмаков лишь пошел пар.

Вскорѣ в комнату, легко постучав, вошла миловидная и ласковая дѣвушка, которая спросила, не хочу ли я с дороги чаю?

— У нас есть три сорта, — сказала она: — китайскій, цейлонскій и мандаринскій

Я спросил цейлонскаго — и минут через пять она принесла мнѣ его с ромом и лимоном, сама налила чашку и, пока я его с дѣйствительным наслажденіем пил, стояла против меня и улыбалась. Я спросил ее, не хочет ли и она чаю, — дѣвушка улыбнулась и отвѣтила, что попозже с удовольствіем, но сейчас она занята. И привѣтливо махнув ручкой, исчезла.

Когда я уходил, хозяйка удивилась, что у меня нѣт непромокаемаго плаща.

— Вам плохо придется в Антверпенѣ, — сказала она: — здѣсь сейчас період дождей. Мы вам дадим зонтик. Он не в полной исправности, но, все-таки, не каждая капля капнет.

И, дѣйствительно, зонтик был похож на крышу римскаго Пантеона: в самом центрѣ его была круглая дыра.

Обѣдал я в русском ресторанѣ «Добро пожаловать». Когда я спросил водки, то хозяин прежде всего открыл окно на улицу и минут пять смотрѣл то налѣво, то направо, — и потом сказал:

— За продажу сего напитка меня на днях женили на пять тысяч. В Антверпенѣ можно пить только пиво.

И вдруг, как у фокусника, у него неизвѣстно откуда в руках очутилась бутылка с разведенным спиртом. Он дал мнѣ выпить, я выпил и

мгновенно же со стола с такой же таинственностью пропала рюмка.

Я спросил, много ли русских в Антверпенѣ?

Хозяин отвѣтил:

— Раз-два да и обчелся.

— Зачѣм же тогда ресторан?

— А как же без ресторана? — отвѣтил хозяин и заявил: — совѣтую вам пойти сегодня во французскій театр. Идет «Веселая вдова». Если составите компанію, то и я с вами соберусь.

Ровно в восемь часов, он потушил огонь, наложил на дверь висячій замок и мы пошли в театр. Тихій дождь дѣлал свое дѣло и было странно, как в такой сырости могут горѣть веселые вывѣсочные огни.

— Я не люблю кинематографа, — сказал хозяин, — пока он молчал, его считали великим. А когда заговорил, то оказалось, что он — болван.

Пошли с актерскаго хода. Длинный сводчатый коридор. В какой то комнатѣ было много людей в смокингах. Оказалось: музыканты. Хозяин крикнул:

— Василій Иванович, можно вас на минутку?

И сейчас же от группы отдѣлился человѣк, чрезвычайно обрадовавшійся хозяину. Он жал ему руку, хлопал по плечу, обнимал за талію и потом куда то исчез с необыкновенной торопливостью. Через пять минут мы сидѣли во втором ряду и театральная прислуга отнеслась к нам с чрезвычайной почтительностью. Когда наполнился оркестр, то оказалось, что Василій Иванович играет на кларнетѣ.

Началась «Веселая Вдова».

Кругом нас сидѣли люди в смокингах, с бархатными воротниками и дамы в бальных платьях. От дам попахивало шипром Коти, но в ушах сверкали брилліанты изумительной силы. Я безцеремонно разсматривал их и дамам это нравилось. Онѣ покачивали головками и из бриллiатов струились ослѣпительные, калейдоскопическiе, дерзкiе огни. В бриллiнтѣ много свойств: он волшебно освѣщает лицо, омолаживает кожу, высѣкает из глаз таинственныя искры, — в брилліантѣ есть способность — из каждой женщины дѣлать немного королеву. И мнѣ казалось, что я сижу среди сонма королев: французских, испанских, итальянских. шведских, датских.

Когда же я подѣлился своими впечатлѣніями с хозяином, то он отвѣтил пренебрежительно:

— Все это — лавочницы. Если у вас есть деньги, вы можете в антрактѣ у любой из них купить то, что вам нравится.

Я очень люблю театральные разъѣзды. Вот, из дверей зданія, похожаго на дворец, выходят люди, которые в продолженіе трех часов были во власти странной, неправдоподобной жизни, придуманной каким то давно умершим чудаком. Какіе то другіе чудаки, намазавши лица красками и натянув на головы чужіе волосы, притворялись влюбленными, добрыми, злыми, богатыми и бѣдными, дрались на дуэлях; принимали яд; пили вино из пустых стаканов, играли на лютнях, на которых струны были из ниток, — и эти пустяки волновали тысячную залу, смѣшили, радовали, исторгали слезы, заставляли вздыхать. Как интересны люди, вѣрившіе в этот вздор!

На площади стоял ряд трамваев с разными

номерами. И я видѣл моих королев, стоящих в очереди.

— Гдѣ же их бриллiанты?

— Онѣ попрятали их в футляры и спрятали в сумочки. А завтра опять разложать их на подоконниках своих магазинов, — объяснил хозяин.

Я хотѣл пригласить его поужинать со мной, но он явно торопился и вскочил на площадку трамвая номер третiй.

— Сейчас только начинается жизнь, — пояснил он мнѣ: — послѣ полночи я торгую чаем. У меня превосходные сорта: китайскiй, цейлонскiй и мандаринскiй. Приходите завтра: сегодня вам хочется спать.

Тихо, распластавши над головой пантеон, я поплелся домой. И в этом есть большое очарованiе: итти ночью по незнакомому городу. Незнакомыя, пустынныя улицы, незнакомые тротуары, профиль незнакомых домов — и только вдали знакомое желто-освѣщенное полнолунiе вокзальных часов. Стрѣлки стоят под прямым углом: очевидно, четверть перваго.

Моя пивная заперта. Долго, минут двадцать, одеревенѣвшим пальцем звоню. Никого. Ни души. Ни признака жизни. Только — дождь. Стучу в дверь зонтом. Какое то движенiе вверху. Вспыхивает в окнѣ свѣт и показывается фигура с чулком на головѣ.

— Кто там?

— Ваш квартирант.

— Развѣ вы не читали правил, что мы впускаем только до одиннадцати часов?

— Нѣт, не читал.

— Надо быть внимательным. А теперь идите ночевать в Мажестик.

— Гдѣ это?

— Вторая улица направо.

Отыскиваю Мажестик. Громадный подъѣзд, слабо-освѣщенный холл, вѣтвистыя пальмы, канделябры и свѣжій, за день выспавшійся, в зеленом сюртукѣ швейцар, бывшій солдат, отчетливый, умный, сразу разгадавшій мою трагедію и потребовавшій деньги вперед.

Через двѣ минуты я очутился в традиціонно-удлиненной комнатѣ, с громадным трехзеркальным умывальником, со снѣжным бѣльем на кровати, с горячей гармоніей отопленія и с бордовыми занавѣсями на окнах. Полки шкафа были устланы «Берлинер Тагеблаттом». Очевидно, до меня здѣсь обитал нѣмец. Прессованныя полотенца висѣли на металлических стержнях и тут я вспомнил, что у меня нѣт мыла и позвонил. На звонок явилась прелестная женщина в бальном длинном платьѣ. Она подошла ко мнѣ, положила руки мнѣ на плечи и спросила:

— Какого прикажете? У нас есть три сорта: китайскій, цейлонскій и мандаринскій.

— От этих сортов у меня бывает сердцебіеніе, — отвѣтил я: — я пью только тибетскій.

— Тибетскій? — удивленно спросила женщина: — первый раз слышу.

— Вообще, ваш город поотстал. — сказал я недовольным тоном и нахмурился.

Я не рѣшился заговорить о мылѣ, и она мирно и не обидчиво ушла.

За дверью в коридорѣ послышался разговор в видѣ вопросов и отвѣтов и она, приходившая ко мнѣ, звонко засмѣялась, — и тут я вспомнил, что от удивленія я не разсмотрѣл ея лица и у меня в памяти остались только слегка немодный

покрой платья, свѣтлые, не то синіе, не то зеленые глаза и тембр голоса.

И все время в коридорѣ шла какая то жизнь: то четыре ноги идут по ковру, то слышится небрежный шопот, безцеремонно переходящій порой в тона дневного разговора, то позвякивают чашки о серебряный поднос, то проносится тихій посвист лондонской пѣсенки, — в концѣ концов, это было таинственно и пріятно, но разгоняло сон и с лица никакими усиліями нельзя было прогнать улыбки.

И вдруг за сосѣдней стѣной я услышал слезы. Прислушавшись, поднявшись на локтях, я понял, что онѣ — мужскія и одинокія. Кто? Что? Почему? В таких неожиданных случаях всегда просыпается желаніе помочь, но соображенія о том, как это сдѣлать и не нарвешься ли на непріятность, ослабляют первыя человѣческія, не свѣтскія и не фальшивыя движенія души. Тяжело тянется на басовой нотѣ звѣриный, приглушенный одѣялом, вой. Какая нота? Вѣроятно, фа. Вот всхлипнул в полу-тон, — фа діез, — и опять фа. Зажигаю лампу, смотрю в потолок и невольно начинаю думать о горестях собственнаго существованія. Что же? Завыть самому? Потом присоединится сосѣд с лѣвой стороны и дружный вой, огласит наш великолѣпный Мажестик. Собачья психологія. Надо крѣпиться.

Утром тихонько пріоткрываю дверь и жду: кто же выйдет из этой комнаты? Кто плакал?

Смотрю: выходит старик, осанистый, с гордой бѣлой бородой, прекрасно одѣтый, в котелкѣ.

— И чего тебя разбирало? думаю не без досады, снова ложусь в постель и на этот раз

вижу сны, покупаю в Москвѣ у Ноева розы, чтобы подарить их артисткѣ Художественнаго театра, ощущаю московскій мороз, слышу скрипѣнье саней по твердому лоснистому снѣгу и мечтаю о судакѣ под польским соусом.

Проснулся поздно, — уже шла уборка комнат и всѣ двери в коридор были открыты.

— Кто это здѣсь живет рядом со мной? — спросил я горничную.

— А он плакал? — отвѣтила та.

— Да.

— Ха-ха! — сказала она без улыбки: — заплачешь. Еще полгода тому назад у человѣка было четыре милліона, дом и помѣщеніе театра варьетэ. Теперь у него осталось только вот это, — и она показала на отличный, небольшой чемодан, стоявшій посреди стола: — зайдите взглянуть, что в чемоданѣ. В концѣ концов, вы имѣете право: он, навѣрное, не дал вам спать.

Потихоньку, на цыпочках, кляня глупое профессіональное любопытство, я вошел в комнату и заглянул в чемодан. Там лежало отлично сдѣланное чучело маленькой комнатной собачки из породы пекинуа.

II

Влюбленность

Спускаясь в лифтѣ, я ощутил тревогу, почти гипнотическую. Нѣсколько раз уже случалось, что, впервые встрѣтившись с женщиной, я запоминал только цвѣт ея глаз и тембр голоса. Все остальное не оставляло впечатлѣнія, и это всегда было началом большой и мучительной влюбленности.

Прошли многіе и суетливые годы. У меня завелся специальный чемодан для храненія неизданных рукописей. В этом чемоданѣ лежат: двѣ неоркестрованных оперы, двѣ симфоніи, из которых вторая — не окончена и которая мнѣ кажется сладостной, которую я порою слышу во снѣ и странно: дирижирует ею всегда вертлявый и приплясывающій Іоганн Штраус; поверх этой симфоніи лежит концерт для скрипки, — все это, — в неразборчивых больших тетрадях, с которыми я не разстаюсь и которыя не довѣряю даже банковскому сейфу. Иногда во время остановки в родѣ теперешней, антверпенской, я правлю их и тенору, вмѣсто до діэза даю ля: пусть блеснет тот, мой невѣдомый пѣвец, который таится во мглѣ времен. Такая пустяковая работа — заманчива.

Теперь же, в моей сегодняшней ипостаси, я — ломовая лошадь. Я состою дирижером труппы странствующих интернаціональных лилипутов.

Лифт твердо стукнулся о пол и крякнул. Увы, в холлѣ я уже не вижу швейцара, который ночью впустил меня в Мажестик. Его смѣнил толстый, брюзглый и, вѣроятно, богатющій старик, похожій на Максима Ковалевскаго. Так же зачесанной вверх паутинкой прикрыта дряхлѣющая лысина, такіе же умные, потухшіе, но неспокойные глаза, та же желтоватость и легкая припухлость кожи, которая говорит, что ея обладатель покончит дни свои от водянки.

Он сразу оцѣнил, что я пассажир — нехлѣбный, но все таки приподнялся, отчетливо щелкнул каблуками и вѣжливо склонил ухо.

Я спросл у него о женщинѣ, которая явилась

ю мнѣ в номер ночью, когда я позвонил в сервис.

— Если вы звонили в сервис, то могла прійти только горничная, — отвѣтил он французским языком, каким говорят в восьмом кварталѣ Парижа.

— Странно, — сказал я: — у вас в Мажестикѣ, горничныя ходят ночью в бальных туфлях.

Старик страдальчески покраснѣл.

— Наш отель, — наставительно отвѣтил он, — один из первых в Европѣ. Нам принадлежат лучшія дѣла Ниццы, Остенде и Біаррица. Маскарадов мы не допускаем. У нас горничная есть горничная и должна быть в бѣлом фартукѣ и с бѣлой наколкой на головѣ.

— Ко мнѣ приходила прелестная женщина в бальном платьѣ, — настаивал я.

— К вам приходила температура, — отвѣтил швейцар с насмѣшливостью в губах, ставших злыми и запрятавших злость под усы, — и я должен вас предупредить, что пріѣзжему человѣку шутить с сырым климатом Антверпена — очень опасно.

И он каким то неуловимым, игуменским жестом дал понять, что аудіенція окончена.

— Тогда оставьте за мной комнату, — сказал я.

— Очень сожалѣю, но не могу, — отвѣтил швейцар, припрятывая удовлетворенную злобу поглубже в усы: — вы вчера заявили, что снимаете комнату только на одну ночь, учинили расчет и поэтому сейчас мы сочли себя в правѣ сдать ее другому лицу.

— Тогда дайте мнѣ другую комнату.

Швейцар ядовито улыбнулся, выпустив злобу на нижнюю, искривившуюся губу.

— Очень рад был бы служить, но не могу: все занято. Мажестик переполнен.

Ясно: своими разспросами я сдѣлал «гафф» и Мажестик спасал свою европейскую репутацію. Мажестику было больно превращаться в мѣсто предосудительных свиданій. В холлѣ Мажестика, на видном мѣстѣ, висѣла огромная фотографія Эдуарда VII с гипсовой короной на орѣховой рамѣ. Неподалеку от него красовалась размашисто и с огнем написанная картина, изображавшая утреннюю кавалькаду в Булонском лѣсу: этой картиной Мажестик символически устанавливал свои связи и близость с Парижем. В салонѣ стояла мебель Людовика XV-го, может быть, подлинная. Под плакатом бременской пароходной линіи висѣл ящик для воздушной корреспонденціи: бытіе и значительность Мажестика было офиціально признано почтой его величества...

И теперь Мажестик, поскользнувшійся в трудностях пути, нашел все таки силы, чтобы выбросить меня на улицу, на которой не переставал итти дождь, надоѣвшій самому себѣ. Я хотѣл вернуться и почеловѣчески сказать швейцару о влюбленности, которая уже привязалась ко мнѣ, как болѣзнь, но не посмѣл, предполагая, что он снова напомнит о температурѣ. Я вынул часы, и всматриваясь в маленькій кружок по которому скачет секундная стрѣлка, высчитал, что пульс у меня не больше восьмидесяти и что, значит, я здоров, как бык.

Антверпенцы привыкли к дождю, но антверпенскіе псы явно мучились: все было смыто, все было прѣсно и скучно, — понюхать нечего

и собаки бѣгали, тревожно и уныло заложив хвосты меж ног.

В четыре часа с брюссельским поѣздом прибыли лилипуты. Их было девятнадцать душ, англійских, нѣмецких и русских. Они объѣхали всю Европу и ничему не удивлялись. Всѣх девятнадцать их посадили в одно такси и привезли прямо в театр на оркестровую репетицію. Музыкантов я уже подготовил, то-есть,— сыграл бурный вступительный марш Легара и ту музыку, которую меня принудили сочинить к японской пантомимѣ. Почти все это произведеніе я украл у Джонса из Гейши и называл его поэтому хопен-мюзик. Прежде всего нужно было провѣрить аккомпанимент и поэтому я первым вызвал русскаго лилипута Васеньку. Васенька жаловался на зубы, но все таки подошел к суфлерской будкѣ и тихеньким голоском пропѣл:

— Деньги есть — веселюсь и на толстенькой женюсь.

Работал я машинально и внутренним слухом наблюдал, как в душѣ начинает жить моя, так ненужно родившаяся, влюбленность. Поначалу она мнѣ всегда кажется похожим на маленькое бѣлое облачко.

К концу репетиціи ко мнѣ подошел импрессаріо и сказал, что, слава Богу, всѣ билеты проданы и интерес к лилипутам — очень большой. Это никого не обрадовало. Лилипутам было все равно. Он жили своей собственной тайной жизнью. Из дѣл общечеловѣческих их интересовали только открытки с влюбленными парочками, цѣлующимися при лунѣ. Особенно безразличны ко всему были русскіе. В нѣмцах и англичанах жила все таки бацилла патріотизма и они иногда на этой почвѣ дрались, но мирились скоро

и потом пили пиво из высоких кружек, обязательно и многозначительно чокаясь. Когда они болѣли, то доктора прописывали им лекарства в дѣтских дозах. Всѣ они — пузатенькіе, щеголеватые и головы их похожи на моченыя яблоки.

На спектаклѣ лилипуты продѣлывали все человѣческое; но в театрѣ было тихо и скучно, когда лилипуты смѣялись, и все грохотало от смѣха, когда они плакали. Лилипуты размахивали японскими мечами, ходили в японских костюмах, устраивали гадости богдыхану, похищали его любимую накрашенную жену, — и во всем этом непереносимо остро отражалась смѣхотворность и ложная значительность всѣх человѣческих чувств, — в том же числѣ и моей влюбленности. Я был благодарен лилипутам и уже успокаивался, как вдруг почувствовал укол гипноза. Я повернулся и в одной из лож второго яруса увидѣл тѣ глаза, которые мнѣ запомнились. Я оробѣл и только в антрактѣ из-за занавѣса разсмотрѣл женщину, которая сидѣла положив руку на бархатный барьер. Ей соприсутствовала старая дама во вдовьем черном платьѣ и пожилой господин в отличном смокингѣ. «Она — романтически грустна», думал я, придавая слову «романтически» оттѣнок насмѣшливый, как это дѣлают критики, приверженцы реалистической литературы. Но никакая насмѣшливость не помогала и не уничтожала утвердившагося облачка, а пульс отсчитывал около ста.

В началѣ второго отдѣленія меня, неизвѣстно за какія заслуги, встрѣтили большими аплодисментами, и я отчетливо почувствовал, что таких рукоплесканій никогда не вызовут ни мои оперы, ни мои симфоніи, ни мой скрипичный кон-

церт. Залихватски взмахнув смычком, я бурно проиграл свою хопен-мюзик и рѣшил преслѣдовать незнакомку до дому. Но, увы, когда окончился спектакль и удар барабанщика поставил ко всему спектаклю точку, ея уже не было в ложѣ. Смокинг и вдова, надѣвая макинтоши, помогали друг другу. Она, не дождавшись конца, сбѣжала и, вѣроятно, в Мажестик.

Импрессаріо отсыпал мнѣ мой заработок большими монетами, похожими и на серебряныя и на оловянныя. Груз этот вѣсил больше русскаго фунта и оттягивал карманы. Я устроил кутеж в ночном ресторанѣ, сидѣл на плюшевом диванчикѣ и по бокам у меня находились двѣ молоденькія женщины, которыя, как в итальянской комедіи, прикрыли мои ноги углом своих юбок. Онѣ поочередно цѣловали меня, но глаза их были у чорта на куличках. Я сидѣл и чувствовал свою связанность с какими то вещами, казалось, совсѣм посторонними. Я чувствовал связанность с Антверпеном, с его дождями, с его небом, с его пароходными гудками, и, может быть, с тѣм туманным, но неразсѣявшимся наважденіем, которое здѣсь было создано Рубенсом и тѣми артистами, которые у него учились и живописи и безпутству. В самом дѣлѣ, если теперь, сидя в Парижѣ у деревяннаго ящика с серебристыми лампочками, можно слышать декламацію московскаго актера, то отчего не предположить, что скоро будет найден такой ящик, который покажет нам продолжающуюся и властную жизнь тѣх, кого мы считаем мертвецами и которых много сот лѣт тому назад зарыли в подземельях самых торжественных соборов?

Около двух часов ночи я был в Мажестикѣ и молил добраго ночного швейцара:

— Пусти меня на ночлег, я заплачу за неделю вперед.

— Нѣт, — отвѣчал он сурово: — нѣт! Вы утром устроили невѣроятный скандал. Вы — некорректны и не принадлежите к приличному обществу. Вам нужно жить не в Мажестикѣ, а в Восточном Экспрессѣ или в Бирюзовой Собакѣ.

— Но вѣдь здѣсь же живут наши лилипуты.

— Это хорошіе и честные господа, хотя и спят втроем на одной кровати.

— Но, вѣдь, я же дирижирую у них в оркестрѣ. Я очень важное лицо у них.

— Врете, сударь. Я был в театрѣ, я видѣл дирижера, аплодировал ему и, увы, это не были вы.

— Но смотрите же, вот мой фрак и лакированные ботинки.

— Помоему, вы были в каком то клубѣ и сильно проигрались.

— Вот тебѣ деньги, — и я высыпал на прилавок горсть скверно звучащих монет: — скажи мнѣ, гдѣ я могу встрѣтить ее?

Швейцар задумался и смахнул деньги к себѣ, как сор. Потом развернул какую то продолговатую и узкую книгу и послѣ долгой паузы неохотно отвѣтил:

— Приходите завтра в пять часов дня к дому Фауста, и она вас там встрѣтит около двери, обшитой желѣзом. Но будьте скромны и знайете, что язык — самый большой враг из всѣх врагов человѣка. До свиданья.

Если у утренняго швейцара были манеры игуменскія, то у этого онѣ были генеральскими. Я не спал ночь, сидѣл на вокзалѣ и от волненія пил пиво с солью.

III

Дом Фауста.

Часов около трех ночи в вокзальном ресторанѣ было пусто, душно и накурено. Табачный дым, прошедшій через человѣческія легкія, ослабѣл и отдавал чѣм-то кислым. Лакей принес мнѣ пиво, похожее на жидкій янтарь со сливками, и спросил, почему я в него сыплю соль?

— Чтобы отбить горечь, — отвѣтил я.

Лакей усмѣхнулся и сказал:

— Напитки придуманы не глупыми людьми, и вы бьете мимо цѣли. Пиво и создано для того, чтобы горечью убивать горечь жизни. Водка — для того, чтобы остроту жизни чувствовать еще острѣе, а шампанское — чтобы разогрѣвать интерес к женщинам. Неужели вы не знали таких простых вещей?

Ночевать я пошел в «Восточный Экспресс». Его вывѣска была выведена калиграфическими голубыми ртутными буквами и манила к себѣ. Лохматый парень, в лѣтнем пальто с поднятым воротником, отвел мнѣ ночлег. Парень боролся со сном и не находил в себѣ сил, чтобы прошептать мнѣ проклятіе. Согрѣв тѣлом простыню и подъодѣяльник, я быстро заснул и с тревогой ловил свою послѣднюю земную нетвердую мысль: встать в десять часов. Потом я умер и воскрес, когда по линіи плохо задернутой занавѣски бѣлой струей свѣтил дневной нещедрый свѣт. Тѣло оказалось послушным и точно отсчитало время: было ровно десять часов. Кофе подали мнѣ с удивительным хлѣбом, похожим на православную просфору. Я взглянул на себя в зеркало: о, как я был помят, блѣден и

худ! Сон не исцѣлил тѣло от усталости, но голову мою сдѣлал прозрачно-свѣжей: исчезла память, хранилище опыта, странная библіотека, — и вмѣсто нея были внутренніе мѣрные толчки, которые били в лобную кость и говорили: иди, иди, иди.

Я спросил у лакея: гдѣ находится дом Фауста, и тот посмотрѣл на меня удивленно и вмѣсто отвѣта принес путеводитель с планом, сложенным в восемь долей. Я перелистал книгу с лихорадочной быстротой, порвал в двух мѣстах план, но никаких указаній на дом Фауста не нашел. На перекресткѣ я спросил об этом у полицейскаго. Тот взглянул на меня недовѣрчиво, отдал честь и потребовал паспорт. Прочитав на его оборотѣ множество фіолетовых печатей, не всегда хорошо оттиснутых, полицейскій послал меня на вокзал, в бюро справок. В бюро мнѣ отвѣтили:

— В Антверпенѣ дома Фауста не числится.

Ясно: ночной швейцар из Мажестика обманул меня и даром забрал мои деньги. Но в четыре часа, когда я шел по улицѣ с опущенными, как плети, руками, меня осѣнила слѣдующая мысль: все время я разговаривал с людьми мало-культурными и мало-интеллигентными. Вот, навстрѣчу мнѣ, идет почтенный сѣдовласый человѣк с квадратно-остриженной бѣлой бородой, под шелковым зонтом, в прекрасных прочных перчатках, в прекрасно-сшитом прочном пальто, в плюшевой прочной шляпѣ: профессор государственнаго права, экономист - писатель, домовладѣлец, редактор газеты, строитель доходных домов. Я подошел к нему и спросил о домѣ Фаустѣ.

Улыбнувшись, он отвѣтил с доброй готовностью:

— Напрасно в этом городѣ вы ищите дом Фауста. Дом Фауста находится в Прагѣ. В Лейпцигѣ есть погребок Ауэрбаха, из котораго Фауст вылетѣл на бочкѣ. В этом погребкѣ до сих пор служат не плохим рейнским вином.

Господин вѣжливо приподнял свою плюшевую шляпу и прошел в табачную лавку. Я видѣл, как он выбирал сигары, нюхал образцы, с сомнѣніем покачивал головой, и как приказчик лазил для него на верхнія полки и доставал оттуда продолговатые ящички с олеографическими бандеролями. В разсѣянности я натолкнулся на оконное стекло и понял, как оно отлично, до иллюзіи чисто протерто и водянисто-прозрачным, застывшм водопадом отдѣляет пространство.

Когда господин вышел из лавки, я, обезсиленный, глупо-уничтоженный, сказал ему смиренно:

— У вас в домѣ должен быть рояль.

Господин удивленно отвѣтил:

— Есть. Настоящій Бехштейн.

— Не разрѣшите ли вы мнѣ на самое короткое время прикоснуться к нему?

— Вы настройщик?

— Я — музыкант.

Господин первым дѣлом взглянул мнѣ на ноги: сапоги были чисты. В Восточном Экспрессѣ их натерли до ослѣпительнаго блеска.

— Вы, вѣрно, путешественник и соскучились по инструменту?

— Да, — отвѣтил я, радуясь, что он быстро схватывает мои мысли.

— Я вас понимаю, — одобрительно сказал

господин и со странной евангельской мягкостью взял меня под руку и подвел к наемному автомобилю. Я ощутил запах свѣже-выдубленной кожи и рукой нащупал пуговицы, глубоко вдавленные в нее. Господин смотрѣл на меня так, как ученый смотрит на кролика, предназначеннаго для эксперимента.

Рояль не просто стоял, а присутствовал в большой залѣ, артист среди глупой и низменной мебели. Поставив около меня пепельницу и распечатав коробку сигар, господин удалился и я молитвенно положил руку на очаровательно-скользкія клавиши. Когда проснулись тихіе, бархатные басы, мирно спавшіе в лѣвом углу Бехштейна, я понял, что мнѣ хочется услышать свою сладостную симфонію, которую я так хорошо начал и никогда не мог окончить. Басы разбудили весь хор и черный звѣрь, созданный Бехштейном, подчинился мнѣ, признал хозяина, лизал мнѣ руки и служил с ласковой послушностью. Я с тревогой ждал того момента, на котором полгода назад остановилось мое обезсилѣвшее перо, и — о, счастье, когда я дошел до этого предѣла, то помню, что в душѣ моей собрались силы, с которыми я могу дерзнуть на все. Когда-то я не знал, что мнѣ предстоит дѣлать за чертой послѣдняго, таинственнаго такта, — теперь было ясно: басы, басы, басы!

Я повелительно крикнул:

— Дайте перо и нотной бумаги!

— За нотной бумагой сейчас пошлем в лавку, — отвѣтили мнѣ издалека.

— Награфите карандашем по пяти линеек на простой бумагѣ, — командовал я, — звѣрь в моих руках!

И скоро мнѣ подали листок обыкновенной

коммерческой бумаги с торопливо нарисованными карандашными линіями.

— Напишите скрипичный ключ с двумя бемолями! командовал я.

Кто-то точно исполнял мои приказанія, и, не отрывая лѣвой руки от басового гнѣзда, правой я чертил на бумагѣ головастиков, которые, казалось, прыгали по лѣстницѣ. Я знал, что дѣлать и куда итти. Весь лѣс был знаком мнѣ со всѣми лужайками и тропинками, с птичьими селеніями, с медвѣжьими берлогами, с подземельями муравейников, с змѣиными ходами, с ритуальными танцами фламинго, с любовными битвами оленей, с соловьиными пѣснями и с пророческими криками кукушек.

Потом меня кто-то тронул за плечо и я снова увидѣл улыбающагося господина.

— Пойдемте обѣдать, — сказал он, — уже восемь часов.

— Восемь часов? — в ужасѣ спросил я, — но мнѣ же нужно в театр.

И тут я увидѣл: на дворѣ был вечер, в залѣ горѣла электрическая люстра со множеством ламп, на роялѣ по обѣ стороны пюпитра были зажжены и уже сильно оплыли стеариновыя свѣчи. Сигарная коробка была наполовину пуста и пепел разсѣялся на полу, по клавишам, по чернильницѣ.

— Мнѣ стыдно, — сказал я, — я ворвался в ваш дом, насвинил, причинил вам безпокойство и выкурил множество сигар.

Я дал понять, что во мнѣ проснулся современный, корректный, свѣтскій человѣк.

— А вы развѣ к нам больше не придете? — спросил третій голос.

И тут я в первый раз увидѣл дѣвушку: сем-

надцатилѣтнюю, испуганную, прекрасную, чистую, с аметистовым хранительным крестом на шеѣ. В глазах ея горѣл золотой свѣжій огонек церковных лампад. Промелькнула одуряющая мысль, что он зажется предо мною — и я отчетливо и гордо укрѣпил ее в своей душѣ.

— Наш дом всегда открыт для вас, — робко и просительно говорила дѣвушка.

— А в вашем домѣ не жил Фауст? — спросил я полусерьезно, полушутливо.

Дѣвушка не поняла, но отец ея дружески хлопнул меня по плечу.

В театрѣ я неистовствовал. Я был весел, как щенок. Скрипачей и віолончелистов я запарил до тридцатаго пота, и они то и дѣло вытирали лбы не особенно свѣжими платками. Я заразил всѣх и даже Васенька пѣл свои куплеты с неприсущим ему шиком. Он становился около суфлерской будки, щелкал пальчиками, держал наотмаш свой шапо-клак, касался пола носком туфли, кокетничал с невидимыми красавицами зрительнаго зала, моченое яблочко его расцвѣтало улыбкой и, кланяясь на аплодисменты, он отбѣгал до задней кулисы и дѣлал там комическіе антраша.

Нестерпимо хотѣлось ѣсть и в антрактѣ в уборной Васеньки я пожирал бутерброды с сырым, мелко нарубленным, мясом. Васенька, который мог, не согнувшись, подойти под стол, смотрѣл на меня насмѣшливо и коряво и вдруг спросил:

— Так ты говоришь, что я карлик, что я — ничтожное существо?

— Болван! — отвѣтил я, — вѣдь, это я тебѣ сдѣлал успѣх.

— Не об успѣхѣ идет рѣчь, — сказал Ва-

сенька гордо, — ты, вот, лучше посмотри, что здѣсь написала мнѣ одна неплохая бабенка.

И Васенька с предосторожностями, не давая мнѣ в руки, показал открытку, на бѣлой сторонѣ которой было написано карандашем:

«Лучшему любовнику, какого я встрѣчала, — геніальному артисту Васенькѣ».

Я вырвал у него открытку и взглянул лицевую сторону. Это была фотографія той, которую я искал, — но глаза ея были мертвы, глупо-наглы и фамильярны: глаза обыкновенной, средней, лѣт пять практикующей дѣвки.

Мнѣ было уже все равно. Я был счастлив и стоял на твердой почвѣ. Хотѣлось выяснить точно одно обстоятельство: не обсчитал ли меня директор в платежах за эти дни? Он тонкій психолог и не упускает того, что плывет в руки. По моим подсчетам, очень приблизительным, он за это время, как говорит хозяин русскаго ресторана, женил меня франков на полтораста. И только это обстоятельство теперь занимало меня.

IV

Письмо.

Меня всегда раздражает этот ухарь-купец, который лихо носит борсалиновскія шляпы и именует себя художественным директором лиллипутов. Он звѣрски эксплуатирует этих людей, уже немолодых и вѣсящих по 18-20 кило. Он нажил на них отличный текущій счет в Сосьетэ Женераль и — его обычная похвальба перед газетчиками — пишет об их жизни роман во многих частях.

В уборной, в которой пахло клеем, старой

паутиной и лейнеровской пудрой, он сидѣл, склонившись над рапортиками, которыми надо было надуть: авторов, фиск, владѣльца театра, общество электрическаго освѣщенія, прокатчиков театральной мебели и газетныя конторы. Я сказал ему:

— Отдай мнѣ 168 франков, которые ты зажулил у меня в эти три дня.

Я не знал, сколько он зажулил, и сказал приблизительную цифру. Его надо было пугать точностью.

Он пальцем сдвинул барсалино на затылок, обвел меня горячим глазом и отвѣтил:

— Вагнер! Берліот! Римскій-Корсаков! Ты получил все до копейки и вот твои драгоцѣнныя автографы. Очисть это помѣщеніе и не сиди над моей душой. Я не виноват, что ты геній или безпутство.

— Ты меня обсчитал, и я требую свое.

— Отвѣть пожалуйста, — сказал директор, — кто деньги дѣлает: я или правительство?

— Если ты не заплатишь, — отвѣтил я, — то я сегодня не дирижирую!

— Будет дрижировать первый скрипач, — сказал директор.

— Он не пойдет на это. У нас, слава Богу, есть этика.

— Тогда я буду дирижировать сам. У меня абсолютный слух и я не в консерваторіи только по недоразумѣнію.

— Оставляю мои деньги тебѣ на гроб и на свѣчи! — торжественно сказал я.

— Слушай, — отвѣтил директор, — я готов заплакать оттого, что ты считаешь меня таким ослом, котораго могут испугать гроб, свѣчи и панихида. В чем дѣло?

И он пренебрежительно поднял правое плечо.

В дверь постучали и в ложу просунулась сначала голова театральной консьержки в папильотках из газетной бумаги, а потом рука, видимо, привыкшая к кухонным работам.

— Вам письмо! — сказали длинныя, вытянутыя шнурком губы.

И в моих руках очутился великолѣпный, солидный, словно накрахмаленный конверт, с позолоченной полоской, на том углу, который приклеивается. Листок такого же цвѣта, как и конверт, оказался записанным со всѣх сторон. Почерк был женскій и строчки шли с кривизной вниз. Я вглядывался в буквы, видѣл а, в, с, д, но в таких комбинаціях, которыя мнѣ ничего не говорили.

— Письмо написано поанглійски — с досадой сказал я.

— Но я же существую на свѣтѣ, — отвѣтил директор, надвинул шляпу вниз, чтобы свѣт лампы не рѣзал глаза, и начал переводить, предварительно и молча пробѣгая текст.

«Многоуважаемый господин! Простите, что я вам пишу и отнимаю от вас время. Папа большой шутник, когда приходится занимать гостей и, забывая о моем присутствіи, очень часто говорит слѣдующее: когда хочешь завладѣть вниманіем женщины, то постарайся прежде всего поразить ея воображеніе («Я коряво перевожу», — сказал директор, — «но, вѣдь, тѣбѣ важен не стиль, а содержаніе. И кромѣ того — папа умница и понимает дѣло. Я однажды поразил воображеніе одной красавицы, послав ей полпуда шоколада, и имѣл успѣх»). Вы поразили мое воображеніе. Вы пришли к нам в дом, самым необыкновенным образом. («Гм с твердым

знаком» — сказал директор и испытующе-вопросительно взглянул на меня). Я сидѣла у себя в комнату («в комнатѣ», — поправил я), как вдруг в залѣ, на моем роялѣ послышалась неизвѣстная мнѣ музыка. Я не успѣла удивиться, как вошел мой отец, и сказал, что так как в молодости он долго жил по дѣлам в Африкѣ, то привык к приключеніям и скучает без них в прѣсном Антверпенѣ. Я, сказал папа, привел в дом неизвѣстнаго мнѣ музыканта. Он показался мнѣ странным и искал дом Фауста («Ты что», — спросил директор удивленно, — «объявил ненормалитет»?). Я запретила отцу говорить («Держу пари, что она у него единственная», — сказал директор). Я начала слушать. Я закрыла глаза и вдруг мнѣ показалось, что я мчусь на арабском скакунѣ. («Она уже мчится. Ей семнадцать лѣт»). В душѣ моей стало тревожно, а отец сказал: «Я оставляю его обѣдать. Я люблю всяких новых людей. Это обогащает опыт». Я тихонько раздвинула портьеру и увидѣла вас. («Она увидѣла вас, Мендельсон - Бартольди»). За роялем сидите вы, и каждая капля вашей музыки падает мнѣ на сердце, как удар молоточка. («Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo»). Я поняла, что это ваше собственное сочиненіе и оно показалось мнѣ прекрасным. («Болѣзнь входит пудами»).

— Послушай, — сказал я директору, — или ты читаешь без комментаріев, или я беру у тебя письмо.

— Так я тебѣ его и дал, — отвѣтил директор, — еще минута и я найду, куда подѣвались твои 168 франков.

«Уходя, вы забыли три листочка, которые попали под ковер. Я схватила их, накинула на

плечи шубку и, вопреки протестам папы, побѣжала за вами и не могла вас догнать. Но за то я увидѣла, что вы вошли в театр и по этому адресу посылаю вам настоящее письмо. Папа и я приглашаем вас обѣдать («Страшно цѣнная деталь: у нея нѣт мамы»). Мы не знаем, кто вы, потому что ваша музыка была не французская, не нѣмецкая и не англійская. Мы не знаем, какія блюда вам могут понравиться. Кто вы? Откуда? Какой вы судьбы? Тѣ свѣчи, при которых вы играли, я спрятала далеко, как драгоцѣнность. Приходите за вашими листками. Я хотѣла их сыграть, но нельзя было угадать, гдѣ четверть, гдѣ осьмыя, гдѣ половинки. Все спуталось».

— Вот-т, — сказал директор, возвращая мое письмо: — вот все, чѣм я мог служить вам.

— Ты не прочитал пост-скриптума, — замѣтил я.

Директор перевернул письмо и снова надѣл пенснэ.

— Ага! — сказал он: — пост-скриптум: «Антверпен — город маленькій и сплетен здѣсь многое множество. Так про папу говорят, что он в Абиссиніи и Конго торговал рабами, и на этом нажил богатство. Не вѣрьте если сулышите. У папы богатство от трамвайных концессій. Не вѣрьте, пожалуйста».

— Гм с твердым знаком, — сказал директор, призадумывшись и лицо его стало — напряженно-серьезным: — это уже важнѣе.

Он взглянул на меня с уваженіем и добавил:

— Теперь я припоминаю, что в расчетѣ с тобой я дѣйствительно ошибся, — но колес на девяносто, не больше. Вот тебѣ бумага (и он подал мнѣ стофранковку), сдачи отдашь потом.

Затѣм он хлопнул меня по колѣну и сказал:

— Имѣю к тебѣ разговор. Слушай меня внимательно, друг мой Горацiо. Ты — идеалист. Я боюсь идеалистов больше, чѣм змѣй, больше, чѣм баб, управляющих автомобилями. Идеалисты это на три четверти умные ребята, умѣющiе на ходу срывать подметки. Но ты, к сожалѣнiю, не из этой категорiи. Ты из тѣх, которых за глупость даже в рай не пускают. Слушай меня внимательно. Тебѣ выпадает головокружительная карта. Во-первых, дѣвица семнадцати лѣт, бубновая дама. Помни, что тебѣ уже сорок лѣт и в твои годы пророк и царь Давид клал себѣ на ложе Ависагу. Она грѣла его и возстановляла угасающiя силы. Тебѣ, при твоих талантах, снимаю шляпу, при твоих ненапечатанных операх и симфонiях, — когда угасает дух и подламываются способности, — Ависага — прiятный алкоголь. Это — во-первых. Во-вторых — папа червонный король. Поди к нему обѣдать и посмотри внимательно, какiе он носит брюки. Если онѣ — в полоску, то будь покоен, что прѣсный Антверпен прав. Лица, любящiя брюки в полоску, склонны к ростовщичеству, а отсюда вышесказанныя Абиссинiя и Конго. Слушай меня внимательно. Всегда полезно присутствовать, когда люди считают деньги. Потерять ты ничего не можеш, а найти что нибуь есть шанс. Слушай меня внимательно. Я тебя давно знаю, и по моим наблюденiям, у тебя динамо-машина хорошая, но сортировочная плохо работает. Довѣрься мнѣ, как гиду, как проводнику через Днѣстр, как Виргилiю. Двѣрься мнѣ, брат мой и сын мой! Мы с тобой сдѣлаем золотое дѣло. Иди к ним обѣдать. Закажи им борщ и битки по казацки. Они сдѣлают. Скажи, что ты русскiй.

Объясни им про бархатныя книги, и, самое главное, напиши дѣвочкѣ письмо и, самое главное, дай мнѣ его перевести на англійскій. Я его переведу так, что она, на крыльях твоей музыки, на арабском скакунѣ, поскачет за тобой в Париж. Мало? А потом, в купэ перваго класса, туда же пріѣдет и ея папа, любитель приключеній. Но уже будет поздно. Мы устроим так, что у папы, на закатѣ дней, опыт обогатится еще больше и ему останется одно: торговать прессованными дымом. И это будет праведно перед Богом, ибо что может быть хуже, что может быть презрѣннѣе, чѣм работорговля в дни юности? Папа должен испить чашу искупленія, — этого жаждет его безсмертная душа. И высшая справедливость сама ставит на его путях тебя и меня! Мало? Ты думаешь, я — хам, — бурбон? Дорогой мой, я — дальнозорок, я знаю жизнь и, самое главное, хорошо отношусь к тебѣ и желаю, чтобы не я у тебя, а ты у меня был бы директором. Мы откроем оперу, заведем оркестр в сто двадцать человѣк музыкальной элиты, ты сядешь за пульт, тебя охватит волна творческаго счастья, — и со сцены польются твои мысли, твои вдохновенія, твои прозрѣнія, твои параллельныя квинты, которых я в своем театрѣ тебѣ не разрѣшаю. А лиллипуты в красных фраках будут разсаживать зрителей на мѣста и продавать программы. А на кассѣ чудотворная и живительная надпись: всѣ билеты проданы. Мало?

Директор замолчал на секунду, скосил на меня глаз и безпечно добавил:

— Вижу, что глаза твои горят гнѣвом и печенка твоя дѣлает желчь. Мысленно ты величаешь меня негодяем и шантажистом («Почему

же мысленно», сказал я). Пусть. Поди выпей коньяку и постарайся заснуть. Если не придет сон, пей сахарную воду. Утро вечера мудренѣе. И завтра я посмотрю, куда упало мое зерно: на добрую почву, или на каменную. А сейчас я готов тебѣ дать аванс не свыше ста. Распишись в этой графѣ и не дѣлай своих дьявольских росчерков. Ты мнѣ портишь ансамбль.

Покуда я расписывался, директор хищным жестом схватил письмо, которое я не успѣл спрятать в карман, внимательно и жадно рассмотрѣл мѣсто, на котором были написаны имя и адрес, поднял голову, напряженно и глубоко закрыл глаза и что то, видимо отпечатал в своей памяти.

V

Человѣк из маскарада.

У Канта есть четырнадцать доказательств бытія и безсмертія души. Я лично обладаю свойством, которое, может быть, присуще всѣм людям и которое я считаю тоже доказательством существованія души.

Став перед зеркалом, я минут десять упорно смотрю себѣ в глаза и думаю: неужели это — тот человѣк, который имѣет что-то общее со мною? В это время вы освобождаетесь от врожденнаго гипноза, рождается чувство остраго и зоркаго пониманія, и вы начинаете видѣть, как уродлив и некрасив человѣк, как глуп и бездарен выступ человѣческаго носа, как наивен и топорен разрѣз рта, как грубо сдѣланы раковины ушей. Совершенно геніально задуманы и созданы только глаза, два акробата над пропа-

стями, и, в особенности, зрачек, впитыватель свѣта.

Эти размышленія приводят к тому, что от вас отдѣляется незримая тѣнь, уходит в угол комнаты и оттуда смѣшливо спрашивает и отвѣчает:

— Неужели это — тот мальчик, который когда-то, в августовскія воскресныя утра, любил бѣгать на гору, к кафедральному собору, и ожидать, как пріѣдет служить обѣдню епископ Евгеній? Как вороные кони, радостно и дисциплинированно работая ногами, понесут к подъѣзду архіерейскую лакированную карету, как затрезвонит на втором этажѣ колокольни гугнивый Тарас? А облаченное и торжественное духовенство, с крестами и кадилами, стоит у входа и держит на головѣ фіолетовую мантію с золотым медальонами? А протодіакон, промочившій горло мартовским пивом, уже покашливает, вызывая низы голоса, и начинает в профундо свое торжественное, величаво-неторопливое и однотонное «Достойно есть». И, в обязательный и расчитанный диссонанс ему, пѣвцы, размѣстившіеся на хорах, грянут: «Да возрадуется душа твоя», — совершенно геніальный Бортнянскій, — и баритон Антоненко, обезвредившій казенку огуречным разсолом, легко, давая любоваться простором голоса, начнет царское слово: «Облече бо тя». Топот коней, звон Тараса, шуршаніе резинвых шин по гравію, профундо протодіакона, Бортнянскій диссонанс, бряцаніе кадильных цѣпочек, Антоненко, шарканье ног по церковным плитам, тихое звяканье мѣдячков у свѣчного ящика, утреннее солнце и отраженіе цвѣтных стекол, — это начало такой симфоніи, композитор которой не пришел еще в мір.

Тот мальчик давно умер, — отвѣчает, на свой же вопрос, существо, ушедшее в угол.

Потом, в зеленых, геометрически четких кружках глаз, я вижу ночь, густой и старый бульвар с запущенными аллеями, аллейками, и площадками, с суворовскими каменными скамьями, вижу высоко и снѣжно бьющій фонтан, громадный дом губернскаго ампира и над ним — колесо мѣсяца, прикатившееся сюда со стороны. Заласканный, в бѣлом кителѣ, идет студент петербургскаго университета, которому, обвив шею, только что шептали, что он — самый лучшій, самый очаровательный, самый первый человѣк на землѣ. Только что он пил вино, совершал воровское и сладкое преступленіе, за которое расплачиваются жизнью. Гдѣ он, этот студент?

— Превратился в тебя, — отвѣчает из угла существо, — но смотри, как жидки стали его волосы, как опускаются уже углы щек, как выдѣляются припухлости под глазами, как надулась на правом вискѣ артеріосклерозная жила, как тускнѣет лак глаза, как потрескались губы, как около ушей пролегли малыя, но самыя убійственныя морщины.

Оно никогда не лжет, это существо, а смертно только то, что может лгать.

И, вот, я вижу семнадцатилѣтнюю дѣвочку, дочь работорговца, и присущим мнѣ, натасканным, как у собаки, чутьем понимаю, что несмотря на припухлости, артеріо-склероз и этот ослабѣвшій блеск глаз, еще сохранились остатки былой притягательной силы. И что же? Послушать директора? Тряхнуть стариной? Напечатать в Лейпцигѣ свои ноты и напечатать не как-нибудь, а с мѣдных досок, с нѣмецкой сверх-

естественной четкостью, — и превратить негритянскія слезы в шедевр типографскаго искусства, которому потом присудят большую золотую медаль?

И существо из угла шепчет:

— Оставь, уйди, не бери новаго грѣха на душу, не создавай новаго горя, не пользуйся ошибкой, которую ты хорошо и точно понимаешь. Для тебя существует сорт других женщин, легких, веселых, любящих вино, и которыя за сто франков создадут тебѣ всю иллюзіи. А этой напиши хорошее письмо и отвѣт на ея трогательный вопрос: кто ты и какой судьбы?

И вот я — за маленьким ломберным столом. Пером, ржавым и расщепленным, вывожу на дешевенькой бумагѣ с печатным штемпелем «Восточнаго Экспресса», с номерами его телефонов и с пунктиром для даты:

«Милая барышня! Кто я? Человѣк из маскарада. Вы спросите: «что за маскарад?» Отвѣчаю. Вы, конечно, из географіи знаете Черное море и Крымскій полуостров. Вот, однажды, лѣт десять тому назад, от этого полуострова отвалило шестьдесят больших, перегруженных кораблей. На них поплыли: генералы, офицеры, солдаты, архіереи, писатели, священники, художники, адвокаты, газетчики, купцы, нотаріусы, актеры, музыканты и множество женщин. Высадившись на чужом берегу, эти люди повели неслыханный маскарад. Кто превратился в чистильщика сапог, кто — в продавца газет, кто — в ресторанную прислугу, кто — в даму с камеліями, кто обрядился в синюю блузу, кто — в силача на ярмаркѣ, кто — в собачьяго парикмахера, кто — в танцора с кинжалами, кто — в учителя бриджа, кто — в ночного сторожа, кто — в по-

варского помощника. Вы в Европѣ живете и не замѣчаете, сколько около вас ряженых и загримированных людей. Бал затянулся слишком долго, но танцовальная зала заперта на ключ и выхода нѣт. В залѣ уже жарко, буфеты — опустошены, а музыка играет. У этих людей создалась маскарадная психологія и даже в их искусствѣ укрѣпились маскарадныя тенденціи.

Предсѣдателя домового комитета из Одессы они облекают в наполеоновскій костюм, т. е. в сѣрый сюртук, в ботфорты, в треуголку и на живот ему накладывают театральную толщинку. Аптекаршу из Тирасполя облачают в платья Екатерины Великой, а на старичка Доливара, скрипача из Ставрополя-Кавказскаго, напяливают парик Бетховена, взятый из костюмерной Одеона. Маскарады, маскарады, маскарады. В этой маскарадной залѣ вытанцовываю и я».

Написав все это, я порвал посланіе и бросил в корзину. Потом взял другой листик с тѣми же штемпелями, оповѣстил мою корреспондентку, что я — русскій, прійду к ней завтра в час и вѣжливым штампом увѣрил ее в своем искренном почтеніи. Бой, отправившійся с этим письмом, вернулся преисполненным ко мнѣ величайшаго уваженія. Его, очевидно, щедро одарили и он вручил мнѣ отвѣт, написанный уже пофранцузски, — и просьбу: привести с собой к завтраку какого-нибудь русскаго пріятеля. Это было ушатом холодной воды. Стало ясно, что богатые люди, скучающіе в Антверпенѣ, хотят видѣть диковинных звѣрей и предполагать о какой-то влюбленности мог только квалифицированный нахал, кумир швеек.

Лицо мое залилось краской и странно: в то же время в душѣ явно отложилась непонятная,

неожиданная и тяжелая горечь, мнѣ стало стыдно и я даже прибѣг к уловкам, чтобы отцѣпиться от нея и забыть. Наигранно посвистывая, я взялся за рукописи и онѣ показались ничтожными. Эти листики, которые я наполнял нотными значками с такой жадностью, показались смѣшными и, без всякаго почтенія, нарочно спутав нумерацію, я их сунул под старое бѣлье, предназначенное в штопку. Я походил по комнатѣ, ушиб ногу о кровать и сложно, по итальянски выругался. Затѣм пришла в голову злобная и мстительная мысль: отыграться на директорѣ и часа за два до спектакля я увлек его в русскій ресторан.

В русском ресторанѣ царствовала суматоха и, приняв наш заказ, хозяин тотчас же забыл о нем, хотя заказ был доходный: мы спросили красной икры, сельдь, маринованных бычков и это служило только началом. Директор думал, что его наставленія упали на чернозем, потирал руки и смотрѣл на меня свысока, погенеральски. Хозяин же обмозговывал что-то свое, часто смотрѣл в потолок и все время дѣлал нервныя записи в новеньком блокнотѣ.

— Что с вами, наш почтенный амфитріон? — спросил, наконец, директор, который должен был знать все.

— Ах, Боже мой! — отвѣтил хозяин, — я так волнуюсь, будто только что начинаю свою карьеру. Представьте — мнѣ дан заказ из одного богатѣйшаго антверпенскаго дома.

— Что за заказ? — покровительственно освѣдомился директор.

— Сдѣлать русскій завтрак на пять персон.

— Цѣна?

— О цѣнѣ не было даже разговора.

— Так что же думать? О чем размышлять? Вали икру свѣжую, вали икру паюсную, семгу, балык бѣлорыбій, осетрину по-царски, замаринуй хорошій, без кости, шашлык, а потом гурьевскую кашу. Водки quantum satis и бордосское вино. Только — бордосское. Бургундскія — уже тяжелы.

— Шашлык не может имѣть успѣха, — сказал хозяин грустно, — для шашлыка нужна молодая баранина, а гдѣ ж теперь ее возьмешь?

— Вы знаете что? — сказал я, — послѣ осетрины дайте скромныя пожарскія котлеты с зеленым горошком. Увѣряю вас, что это будет имѣть успѣх.

Хозяин, с видом совѣтующагося человѣка, присѣл к нам за стол и начал машинально вырывать из блокнота листочки.

— Вѣдь знаете? — страстно заговорил он, — хочется из кожи вылѣзть, а угодить. Сдѣлаешь хорошо, — понесется извѣстность, скажут другим, войдешь в моду и раздуешь кадило. Вѣдь, это — очень важно. Вѣд, к этим чертям не так легко пробраться. Живут замкнуто, за высоченными стѣнами, капиталы колоссальны, тебя за человѣка не считают.

— Дѣлайте пожарскія котлеты! — настойчиво совѣтовал я.

— Но почему именно пожарскія? — тоскливо спрашивал хозяин, — может быть лучше — кіевскія или драгомировскія с шампиньончиками?

— Этот завтрак будем ѣсть мы, т. е. я и мой вот этот друг.

— Sans blague! — сказал хозяин холодно.

— Вот и приглашеніе, — и я показал письмо.

Хозяин привстал, прочитал адрес, низко поклонился и, виновато улыбаясь, отошел на цыпочках от стола.

Директор, сначала оживившійся, вдруг впал в задумчивость.

— Что за чорт? — бормотал он, — по моим расчетам выходит так: их двое и нас двое, итого четверо. Завтрак же заказан на пять персон. Кто же этот пятый, убей его цыган трубкой, а цыганка — молотком?

И было ясно, что его озабочивает не этот пятый. Директор явно ощутил ту-же горечь, что и я, и приглашеніе его не обрадовало. Я торжествовал над его умом и проницательностью. Воздушные замки рушились. Незамѣтно, но внимательно, косым глазом, осмотрѣв меня в профиль, он слегка фыркнул. Что значило, что и старый воробей иногда попадается на мякину.

— Це діло трэба разжувати! — настазительно сказал он самому себѣ.

Я помалкивал, постукивал пальцами по столу и чувствовал, что директор читает мои мысли и злится.

VI

Завтрак.

Принесли выутюженный костюм. Как-то случайно обратил вниманіе: какое в нем множество карманов и как это напоминает человѣческое жилище. В одном карманѣ я держу портсигар и зажигалку, — это курительная. В другом бумажник: казначейство. В третьем — паспорт и записную книжку: кабинет. В боковом — гребенка: будуар. В нижнем — носовой платок; бѣльевая.

Одѣлся и начал поджидать директора. Он был точен и явился ровно в полдень. Таким франтом я никогда его не видѣл. Все в нем было преувеличено. Жилет демонстративно не застегивался на нижнюю пуговицу и разъѣжался пальца на четыре. Платок на четверть аршина высовывался из верхняго карманчика. Галстук был подобран в цвѣт жилета, торчал упругим горбом и в центрѣ этого горба величалась булавка из потухших жемчугов, в формѣ бурбонской лиліи. Бѣлье было упруго, как эмалированная жесть: очевидно, в крахмал, по особому заказу, подбавили буры. На подкладкѣ котелка сверкал золотой герб со львами, вставшими на заднія лапы. Пиджак был обшит широкой шелковой тесьмой, как у редакторов американских газет.

Я, с мѣста в карьер, заявил ему, что если он не засунет платка в карман, и не уберет бурбонской лиліи, я никуда из гостиницы не выйду. Директор ждал всего, но не этого. Он взглянул на меня ошарашенно-удивленно и пробормотал:

— Посмотрите на него, люди добрые! Петроній! Брюммель! Arbiter eligantiarum!

— Не могу же я такое чучело огородное ввести в буржуазный дом? И потом — твои духи, говорил я не без удовольствія: — что ты? Маркиза Помпадур? Духи у мужчины — признак того, что ему неизвѣстен такой распространенный предмет, как ванна.

— Откуда говорят? Номер вашего телефона? Ваш точный адрес? — иронизировал директор, желая понять: шучу я или нѣт.

Я не шутил, и директор, запрятав платок и вынув бурбонскую лилію шутливо-горько проговорил:

— Природа не щадит установленій даже монашескаго чина.

По пути мы заѣхали в цвѣточный магазин. Там уже были кліенты, довольно странные: три китайца покупали орхидеи.

— Вѣроятно, скончался китайскій консул, предположил директор.

Каждый цвѣточный магазин похож на морг. Кто замѣчал оттѣнки аромата, который отличают цвѣток живой и цвѣток убитый? Всѣ цвѣточные магазины, по непонятной ассоціаціи, напоминают мнѣ московскую Петровку.

Директор настаивал, чтобы купить большую корзину с вьющейся зеленью на ручкѣ. Я выбрал фіалки, триста стеблей: в Антверпенѣ онѣ продаются на стебли. Продавщица, проникшаяся благоговѣніем к шелковой тесьмѣ директора, была явно разочарована, закутала фіалки в зеленые листы от малины и на восковую бумагу приклеила рекламный ярлычек.

В залѣ нас встрѣтил папа, похожій на президентов почтенных и не очень старых республик. Мнѣ почему-то не хотѣлось взглянуть ему в глаза и, пока он с директором радостно разговаривал о погодѣ, я осматривал залу, знакомый рояль, окна и старинную, многоэтажную люстру. По стѣнам висѣли морозные зимніе пейзажи, похожіе на клеверовскіе. На почетном мѣстѣ, гордость дома, находилась Елена Фурман, и я сразу узнал ея знаменитыя, упругія, как мяч, груди, свѣтлые красиво-безсмысленные глаза и грубоватую обувь, выглядывавшую из под шелковаго, очень просторнаго колокола юбки. Нигдѣ в залѣ не было самаго малаго намека на Африку: ни божка, ни чернаго дерева, ни слоновой кости. Мебель была луи-филипповская,

камин, с мраморными звѣрями, вѣроятно, из дворянскаго охотничьяго домика.

— Ни слова об Африкѣ, успѣл шепнуть мнѣ директор, когда папа направился к внутренней двери: — будем говорить о сѣверѣ, о морозѣ, о тройках и валаамском монастырѣ. Африка — веревка повѣшеннаго.

— Дениз! — крикнул папа в дверь, как в кулису.

Ея появленія я ожидал не без тревоги. В глубинѣ души я был тронут тѣм впечатлѣніем, которое на нее произвела моя музыка. В концѣ концов, это случилось в первый раз, когда я в своем искусствѣ ощутил присутствіе хмеля. Мнѣ очень не хотѣлось, чтобы она хоть в чем-нибудь была похожа на отца. Больше всего я боялся сходства рта. У отца он был ангельскій, с пухлым сердечком посрединѣ, розовый, как у человѣка, регулярно пьющаго потребную ему минеральную воду.

И, вот, она вошла, поздоровалась со мною и познакомилась с директором, сдѣлавшим великосвѣтское лицо. Да, ей семнадцать лѣт. Все в ней — дѣвическое, и только глаза еще не поспѣли. Она воспитана поанглійски, причесена на прямой пробор, и в ея платьѣ есть неуловимый спортсмэнскій оттѣнок. Сразу замѣчаешь губы, чуть тронутыя кармином, и грудь. Это образует какой-то воображаемый сильный круг и внутри этого круга, на молодом тѣлѣ, лежит ожерелье из матовых янтарей. У ней рельефно и высоко вырѣзаны ноздри и на правой из них, в нѣжной скобочкѣ, есть маленькая бархатистая родинка. Эта родинка играет роль хитро приспособленнаго потайного фонарика. Он освѣщает нѣжность лица, румянец с туманно-бѣлой

серединой и рѣсницы, приподнятыя вверх таинственным и неощущаемым вѣтерком. Глаза ея — темны, но кажется, что цвѣт их еще может измѣниться.

Она пошла в мать. От отца у нея ничего нѣт. Отец ея слишком похож на человѣка, исполнившаго долг до конца, и не было-ли здѣсь когда-нибудь драмы?

Дениз подала мнѣ листки, забытые мною, и на роялѣ я замѣтил оплывшія свѣчи. Она, по-свѣтски начала разспрашивать меня о Парижѣ, о нашем театрѣ и о Россіи. Мнѣ показалось, что она была на нашем представленіи, видѣла лилипутов, слышала мою хопен-мюзик, деликатно об этом не вспоминала, но все это обезцѣнивало ея первыя впечатлѣнія. Гдѣ-то тихо позвякивали ножи и вилки. Мы явно кого-то ждали, и, вот, без стука, из внутренних покоев, появился молодой человѣк в совиных очках. Всѣ, кромѣ Дениз, поднялись, и лицо папы освѣтилось радостью. Молодой человѣк нетороплибым шагом, как привыкшій к поклоненію принц, подошел к Дениз, придворным поцѣлуем коснулся ея лба, и она меня с ним познакомила, сказав:

— Аль, мой жених.

Тѣм же придворным шагом, по діагонали зала, он направился к будущему тестю. Тесть сказал директору, не без гордости, взяв принца под руку:

— Туз нашего табачнаго дѣла, чорт возьми!

Принцу же довѣрчиво сообщил:

— Сегодня в этом домѣ, по случаю случившагося случая, в первый раз по возобновленіи, ѣдят настоящій русскій завтрак.

Завтрак был накрыт, как в отдѣльном кабинетѣ тестовскаго трактира: конусообразныя

салфетки, излишне твердыя, лед вокруг коробки с икрой, селедка с петрушкой во рту, косо нарѣзанный балык и крутое масло, сдѣланное в формѣ поросенка. В ведрѣ стояла водка в традиціонной бутылкѣ, но с непріятным парижским ярлыком.

— Мы, собственно, не знаем, как происходит церемоніал русской ѣды, сказал папа, разсматривая тарелки через пенснэ.

— Прежде всего, командующим тоном отвѣтил директор: — полагается продезинфецировать кишки.

— Каким образом? почтительно спросил папа.

— А вот каким, отвѣтил директор и осторожно, но со сладострастіем разлил водку в рюмки, узкія вверху и широкія у дна. Потом отломил у маслянаго поросенка хвост и заднюю ногу, размазал их по хлѣбу, сверху, как мороженное, положил столбик икры и, крѣпко сжав челюсти, начал выжидать, когда то же самое сдѣлают остальные.

— Теперь ам! сказал он по-русски, и всѣ поняли. Послѣ третьей рюмки папа разговорился и посматривал на нас так, будто за хорошій завтрак мы приняли на себя обязанность его одобрять.

— Дорогой мой! говорил папа принцу, развивая соображенія, давно, видимо, начатыя: — тебя соблазняет политическая карьера? Понимаю. Здоровье есть, деньги есть, молодая жена будет, — хочется власти, хочется посланничества, министерскаго портфеля. Это естественно. Но, мой друг, тогда слущайся меня. Иди в лѣвый сектор: только там тебѣ дадут ход. У нас ты сто лѣт будешь мальчиком на побѣгушках, а там,

при твоих денежных возможностях, ты сразу — ас. В воздухѣ — неспокойно, пахнет дѣлами нерадостными. Если ты будешь даже соціалистом, наше государство все равно охранит твои капиталы. Вспыхнет революція — тебѣ, в лѣвом секторѣ, будет легче вывернуться. Не случится революціи, — ты лѣт через десять перейдешь к нам, и тогда мы тебя встрѣтим, как заблудившагося епископа, заколем на радостях козленка и, самое главное, обезпечим тебѣ твой высокій сан. Скажем: был дураком, ошибался, красивыя слова, головокружительные лозунги, благородныя позы и так далѣе. А быть лѣвым — это очень легкая штука. Дѣлай, что хочешь, говори, что хочешь, требуй, чего хочешь, — все сойдет. Помилуйте! Он лѣвый! У него — благородное сердце! Не так-ли? обратился он к директору.

Тот моргнул, но поддержал.

— Совершенно вѣрно, сказал директор: — то же самое происходит и у нас в театрѣ. Актеры страшно любят играть сумасшедших. Дѣлай, что хочешь: поди там, разберись.

— Здѣсь то же самое! радостно отвѣтил папа: — здѣсь ты — друг народа; поди, разберись.

Дениз, неуловимо-милым движеніем глаз поманила меня в зал, к роялю. Я не люблю, когда музыкант играет свои вещи или писатель читает свои разсказы. В этих случаях у слушателей бывают или глупые, или фальшивые глаза. Выручил Шопен, котораго в дни юности я играл недурно. Играть Шопена на Бехштейнѣ, на мягкой клавіатурѣ, — большая радость. Но, когда я поднял глаза на Дениз, то увидѣл, что она взволнована волненіем, которое к музыкѣ отно-

шенія не имѣет. Бѣлое пятнышко, которое было в серединѣ румянца, распространилось по всей щекѣ.

— Вы недовольны моим Шопеном? спросил я.

— Вы играете очень хорошо, — отвѣтила Дениз: — но почему вы выбрали именно эту вещь?

— Не знаю, в недоумѣніи сказал я: так — вспомнилось.

Дениз невесело улыбнулась.

— Вы — музыкант, и вы, конечно, знаете, что этот вальс Шопен играл на свадьбѣ дѣвушки, которую он любил.

— Право, я этого не знал, — отвѣтил я смущенно.

— Прочтите біографію Шопена, — сказала тихо Дениз, и мнѣ показалось, что меня поймали в каком-то нелѣпом мошенничествѣ.

VII.

Серенада Мефистофеля.

На другой день послѣ завтрака мы с директором с самаго утра засѣли в пустынном кафе. Директор похмелялся. Перед ним стояли четыре посуды из под спа, которое, если вѣрить ярлыку, стимулирует дѣятельность почек, прекращает нефритическія колики и незамѣнимо для падагриков.

У директора упорно не хочет горѣть сигара. Он поправляет разлѣзающіеся табачныя листики и, похрипывая, говорит:

— Вот, видишь? Позавтракали мы с тобой по-русски, восприняли по старинкѣ алкоголя и

вспоминается мнѣ теперь город Армавир. Директор тамошней музыкальной школы — отличный піанист и лучшій в мірѣ аккомпаніатор. Он говорил: «Я — аккомпаніатор по природѣ; я люблю, когда мнѣ приказывают». В то же время он был королем пьяниц, моим родителем и имѣл вѣчно воспаленную печенку. И, вот, видишь? Пью я мало, но по наслѣдству имѣю папину печень.

Пауза. Спа, стакан — в три жадных глотка, переходит в директорское горло.

— Россія погибла от многих причин, — философствует директор, — но одна из них кажется мнѣ главнѣйшей. Это — русская ѣда и русское питье. Русская ѣда — несравненна, но в Россіи не было философіи ѣды. Жрали много, тяжело, ужинали в полночь. «Гнѣвом горит моя изсохшая печень!» восклицал Ювенал. Гнѣвом горѣли добровольно замученныя русскія печени. Только теперь, сѣв на пищу святого Антуана, подлѣчившись на эмигратском режимѣ, освободив печень от мясных и алкогольных ядов, мы понемножку протерли глаза и стали отдавать себѣ отчет: «чорт возьми! Да почему мы, собственно, были так недовольны Россіей? Что, собственно, в ней, по сравненію с Европами, было плохого?» Если даже согласиться с митрофанами, что свободы было мало, то уж, чорт возьми, независимости то у нас было много. Правительство ошибалось? Ошибалось. Бывали бездарные министры? Бывали. Но, брат мой, страдающій брат, выдь на Волгу и укажи мнѣ такую обитель, гдѣ правительства не ошибаются и гдѣ всѣ министры — с геніем на челѣ? Полиція била в участках? Била. А укажи мнѣ такія великія демократіи, гдѣ полиція по го-

ловкѣ гладит мордомочителей? Но суд наш — лучшій в мірѣ, и на глазах русской Ѳемиды повязка была не из марли, а из голландскаго полотна! Жизнь была дешева, просторна, работай, кто хочет, русскій ты или иностранец не спрашивали. А желѣзныя дороги? А волжскіе пароходы? А университеты? А наука? А печать? Развѣ я мог бы дерзнуть пойти в русскую редакцію и за щербатый двугривенный купить театральный отзыв, как это я дѣлаю здѣсь, в самых безукоризненных демократіях? А деньги? А мой батюшка-рубль? Э-эх! А возьмешься за литературу, голова кружится. Панихида. Надгробныя рыданія. Скучные люди, хмурые люди, тяжелые люди. Откуда? В чем дѣло? А оказывается, чеховскій желудок не мог переварить даже тертой ветчины. Конституціи! Дай конституцію! Не конституціи спасли бы, а ессентуки номер семнадцатый, карлсбадская соль и вода из Виши!

И директор снова взялся за спа.

— Говорить об ѣдѣ, заниматься ѣдой считалось мѣщанством, — гремѣл он на все кафе, — и никому в голову не приходило, что именно она, ѣда, в значительной степени вліяет на образованіе національнаго характера. О ѣдѣ, о культурѣ ѣды, надо в университетах читать. Что у нѣмцев? Колбаса, сосиски, пиво. Тяжелый и неподвижный національный характер. Француз напирает на зелень, на салаты, сыры, ягоды, усердно пьет настойки из липы и ромашки, вино и без того слабенькое, разбавляет на сорок процентов водой, — отсюда живость характера, смѣшливость, остроуміе, веселость незамысловатых пѣсенок, доброе отношеніе друг к другу. Макароны сдѣлали итальянцев пріятнѣйшим народом міра, а малопрожаренные бифштексы,

виски и эль родили англійскій сплин. А меня возьми. Позавтракал вчера по-русски, обрадовался, — сегодня всѣм морды бить хочется. Что это? Я — злой человѣк? У меня плохія дѣла? Ничуть. В чем же причина? Она проклятая играет, — и директор ткнул пальцем в мой правый бок.

И, дѣйствительно: глаза его отдавали тяжелым свинцовым блеском, щеки горѣли и руки, вмѣсто стакана, часто и судорожно хватались за порожнюю бутылку.

— По существу, — говорил директор, — я — счастливый и удачливый человѣк. Но сейчас мое пребываніе на землѣ кажется отвратительным. Ясно сознаю, что живу в суетѣ, морочу голову с лиллипутами, когда на землѣ есть совершеннѣйшія формы искусства, изворачиваюсь, ношу монокль, чтобы лгать не моргая, грош к грошу приклеиваю кровью, добиваюсь женской любви милліонами сложнѣйших фокусов, — какая это утомительная и каторжная чепуха!

— Что и говорить! — подзадариваю я.

— Цыганскій романс однажды выпалил глубокую истину: «любовь идет сама, свободна и легка». И как я завидую тебѣ, чортова кукла!

— Не говори глупостей. У Дениз есть жених по имени Аль, — возражаю я.

— Чихать она хотѣла на этого Аля! Я слѣдил за нею. Я видѣл, как ея глаза останавливались на тебѣ. Как они жили, эти глаза, как они путешествовали в каких-то тайных областях, как через них всѣ сонмы ея дѣдушек и бабушек смотрѣли на тебя. Дѣды были против, но бабки — за. Что онѣ нашли в твоем высокоблагородіи?

— Не знаю, — задорно и небрежно отвѣчал я.

— И посмотри на себя. В тебѣ появилась легкость походки, перестал блестѣть нос, сократились поры на щеках, посвѣжѣли губы, повеселѣли глаза, прижались к черепу уши, — ты помолодѣл, мой друг! Твои десны стали много краснѣе. Ты начал пить из чаши, которая в первом актѣ подается Фаусту.

— Но мнѣ кажется, что я не подписывал никаких обязательств, — отшучивался я.

— Тѣм лучше! В гроб ты можешь лечь в одеждѣ францисканскаго монаха.

— Друг мой! — сказал я, — через три дня я буду сидѣть в Парижѣ, на Монпарнассѣ и забуду, как выглядит Дениз.

— Фаусты, — отвѣтил директор, — до самаго четвертаго акта находятся в одурѣніи. Мефистофель всегда должен пѣть за них серенаду, дарить драгоцѣнности и заклинать цвѣты. Гарсон! Дай, чѣм писать! — скомановал он в буфет и добавил, — я и забыл, что мнѣ нужно составить дѣловое письмо.

В глазах директора блеснул тот сигнальный огонек, который я знал и который всегда показывал, что в его черепную коробку упало новое зерно, которое может произрасти самыми неожиданными и проказливыми всходами. Он пересѣл за сосѣдній стол, разложил бювар с серебряными буквами аперитивной фабрики, потер пальцем переносицу, вдохновенно улыбнулся и предался труду.

Я был рад остаться, без разговоров о печени, без булькания спа, без директорских свинцовых глаз. И странно: в первый раз за много лѣт я не ощутил одиночества. Директор подсказал

мнѣ что-то. Он, как талантливый художник, обратил мое вниманіе на то, чего обычно сам не замѣчаешь. Вот зазвенѣло в правом ухѣ: признак того, что о тебѣ гдѣ-то вспомнили. Прислушиваешься к этой таинственной нити, которая, как провод, тянется издалека, пронизывает антверпенскій дождь и зеркальное окно кафе. Стараешься уловить и расшифровать странный, тихій и протяжный звук. Вдруг сжимается сердце и понимаешь, что это — не болѣзнь, не физическая спазма мышц, а постороннее, волшебное и сладкое воздѣйствіе, похожее на сигнал таланта, что ты слегка заколдован и уже не всецѣло подчинен себѣ, что в твоей волѣ есть изъян, что жизнь твоя, как поѣзд, готовится перейти на другія рельсы и уже щелкнули стрѣлки.

В чем дѣло, и не так ли начинается любовь? Я знаю одно: время мчится невѣроятно быстро, и директор уже окончил посланіе к римлянам, как он называет свою кoресспонденцію.

— Проводи меня до почты. Все равно тебѣ дѣлать нечего, — говорит он.

— Почему нѣт? — отвѣчаю ему на одесском языкѣ.

Идем по мокрым и глянцевитым тротуарам. Почта находится в глуховатой улицѣ. То и дѣло чередуются лавки, на окнах которых — бездны табаку и шоколаду. Странно: по отношенію к бельгійскому табаку я стал испытывать нѣкоторую враждебность. И, кромѣ того, директор прав: я ощущаю, что моя походка стала легче и стремительнѣе, словно от подошв моих отстала полоса сильнаго и липкаго клея.

Вот почта. Директор бросает письмо в отверстіе с надписью: «город».

— Ты слышишь, как оно стукнуло? — спрашивает он.

— Слышу.

— Поздравляю тебя. Это — первая нота серенады. В этом письмѣ пошло к Дениз твое объясненіе к любви. Твоя гондола поплыла.

— Моя гондола стоит на мѣстѣ и ты сейчас же это письмо возьмешь обратно! — говорю я и для вѣрности беру директора за шиворот.

— Я пошутил, — отвѣчает директор, — это — дѣловое письмо.

— Дѣловое или не дѣловое, но я его буду имѣть в руках, — настаиваю я, — или тебя ждут большія непріятности.

— Болван! Это письмо в контору нашего театра. Клянусь тебѣ совѣстью!

— За твою совѣсть не даю двух су.

— Ты меня задерживаешь. Мнѣ надо итти на вокзал. Я сегодня вечером уѣзжаю в Париж! — восклицает директор.

— Я тебя не выпущу до тѣх пор, пока не буду имѣть этого письма. И не надо терять времени, ибо ты знаешь: лѣвой рукой я выжимаю пуд, а иногда ружья начинают стрѣлят сами.

Директор молчит, и посинѣвшими губами шепчет молитву.

— И отчего твоя мама не сдѣлала аборта, когда забеременѣла тобой? — вдруг злобно-плаксиво спрашивает он и, под моим водительством, вступает на лѣстницу почтамта.

Сторож с медалью объясняет нам, что письмо изъять можно, но для этого нужно сообщить точное его содержаніе и точный адрес.

— Письмо адресовано в контору французскаго королевскаго театра, — сухо говорит директор.

Сторож записал показаніе в блок-нот.

— Содержаніе письма? — спрашивает он.

Директор косо смотрит на окошечко, в котором принимают заказную корреспонденцію, и говорит:

— Я прошу контору извинить меня за мой неожиданный отъѣзд, и сообщаю, что долг, числящійся за мной по электричеству, по оплатѣ рабочих, по печатанію афиш, по газетным пюблиситэ, я не могу оплатить сейчас, ибо гастроли дали большой убыток. Все это я вышлю из Намюра. Больше ничего.

Сторож спѣшно и дѣловито исчезает во внутренних помѣщеніях.

— Когда же мы ѣдем в Намюр? — миролюбиво спрашиваю я.

— Когда выпадет карта! — загадочно и миролюбиво отвѣчает директор.

Через нѣсколько минут возвращается сторож и говорит, что выемка уже произведена и письмо будет выдано только завтра утром.

— Что-ж. Придется прійти завтра утром! — говорит директор, с независимым видом выходит на улицу и насмѣшливо напѣвает мнѣ в ухо:

— Сквозь аккорды струн пѣвучих слышен сердца стон, поцѣлуев твоих жгучих страстно молит он!

Странно: я на него уже не сержусь, и в его пѣніи даже указываю неправильности.

VIII.

На Олимпѣ.

В маѣ семнадцатаго года петербургскія торговки вынесли на Невскій проспект кошелки,

разставили их вдоль тротуаров и открыли торголю яблоками. Это обстоятельство нагнало на меня смертную тоску. Я понял, что Петербург умирает, и начинается тлѣніе. На вокзалѣ мнѣ сообщили, что плацкарты выдаются только пассажирам, уѣзжающим не ближе Тифлиса. Я купил билет до Тифлиса. Не все ли равно, куда ѣхать. И, вот, тогда, раскрыв чемодан, чтобы уложить вещи, я замѣтил в его углу комочек сѣрой пыли. Тут же лежало стальное перо с цифрой 84 на спинкѣ и огрызок фіолетоваго сургуча. Мнѣ жаль стало выбрасывать их, и с тѣх пор они путешествуют со мной.

Глядя на них, я всегда почему то думаю, что прадѣды, дѣды и отцы наши за все свое столѣтіе не испытывали и не узнавали того, что мы — за один день. Наше поколѣніе, хотя порою и завидующее мертвецам, все же — самое интересное, что появлялось в русской исторіи. И, если через 200 - 300 лѣт на землѣ будет прекрасная жизнь, то все же наши потомки иногда вздохнут, позавидуют нам и скажут: «вот, когда люди жили понастоящему!» И, если бы мнѣ предстояло бы еще раз явиться на землѣ и если бы в царствѣ неродившихся душ, мнѣ сказали бы, что в моей новой земной судьбѣ снова будут и война, и революція, и эмиграція, — я бы принял их без всякаго колебанія.

Этот чемодан купил мой отец, собирая меня в университет. Он обит внутри русским сѣроватым полотном с голубыми полосками. Спинки его оклеены ярлыками из гостиниц всей Европы. На него падали карпатскіе снѣга, его мочили стоходскіе дожди, его прожигало солнце Канарских островов. Он честно поработал на своем вѣку, мой чемодан, он знает прилавки

почти всѣх таможен и его замки были вѣрными собаками. Он носил и коллекціи французских духов, и китайскія книги Мэн-Цзы, и испанскія шали, и египетскіе табаки, и капрійскіе кораллы, и тюбики болгарскаго розоваго масла, — и все это неизмѣнно соприкасалось с частицами русской пыли, с пером ном. 84 и фіолетовым сургучиком.

Антверпенскія гастроли закончились и директор, собрав лиллипутов, как раков в мѣшок, выѣхал с ними в Париж ранним поѣздом: директор страдает дорожной лихорадкой, и любит утренніе поѣзда. Мнѣ не хотѣлось вставать, и я рѣшил уѣхать вечером. Мнѣ жаль покидать Антверпен: чѣм-то он напоминает Петербург, а его главная улица рѣшительно походит на Большой проспект Петербургской стороны. Я мысленно распланировал здѣсь Введенскую улицу, Матвѣевскую, Звѣринскую и Большую Зеленину. Может быть, что-то петербургское есть в небѣ, в температурѣ дождя или в том запахѣ свѣжей огуречной мякоти, который говорит о близости холоднаго, рыбнаго моря.

Раздался стук в дверь и почтительный возглас грумма, зовущій к телефону. Перескакивая через три ступени, бѣгу в бюро и прикладываю к уху тепловатую трубку. Я не сразу узнал важный басовитый голос, произносящій букву «б» с легким уклоиом в «п». Телефонировал отец Дениз и просил притти к нему сейчас же, не теряя времени.

Дверь открыл он мнѣ сам и сам же помог мнѣ снять и повѣсить пальто. Иногда, в этих маленьких услугах и сопровождающей их улыбкѣ сказывается воспитаніе, равное королевскому. В квартирѣ стоял тот род тишины, который

говорит об отсутствіи женщин. Послѣ путешествія по залу мы вступили в область комнат, мнѣ неизвѣстных. Чувствовался особый, проникшій всюду и отстоявшійся до плѣнительнаго аромата, запах сигар. Мы остановились у высокой, кованой, с золотыми инкрустаціями двери, которую папа открыл большим, похожим на молоток ключем.

Когда мы вошли, то первое, что бросилось мнѣ в глаза, — был огромный стол, сдѣланный полуовалом и покрытый отполированным голубоватым мрамором, похожим на лед при лунном освѣщеніи. Перед столом, полукругом, было разставленно шесть мраморных же табуретов. Не было никаких обычных человѣческих вещей: ни чернильниц, ни книг, ни картин. На хозяйском мѣстѣ стояло музейное рыцарское кресло с высокой остроконечной спинкой. И тут же рядом помѣщался обыкновенный вѣнскій стул с плетеным кружком, на который я, по приглашенію, почти высочайшему, почтительно сѣл. Окон не было. Свѣт падал из стеклянных ртутных труб, проведенных у карнизов, и был он с примѣсью легкаго розоваго оттѣнка, похожаго на раннюю лѣтнюю зарю. Что-то во всем этом напоминало богатую усыпальницу, в родѣ флорентійской часовни Медичи.

Тоном городничаго из «Ревизора» папа торжественно сказал:

— Вы, конечно, догадываетесь, зачѣм я пригласил вас. Я прошу вас быть совершенно искренним: Дениз передала мнѣ то письмо, которое вы ей написали.

Я почувствовал, что ноги мои коснулись горящей земли.

— Не избѣгайте моих глаз, — успокаивающе говорил папа, — вам придется смотрѣть в них.

Глаза были сѣрые, старчески дальнозоркіе, но правильными интервалами в них вспыхивали, как у хищных звѣрей, бенгальскіе зеленые, мельком проносящіеся огни. Он разложил на столѣ посланіе, сочиненное директором, и содержаніе котораго было мнѣ неизвѣстно. Я понял, что объяснять его происхожденіе — глупо, и надо принимать вещи так, как онѣ сложились.

— Поклянитесь мнѣ, — сказал папа, блеснув тигровым огнем, — что все, что вы узнаете сегодня в этой комнатѣ, навсегда останется тайной двух джентльменов.

Я молча пожал плечами, и папа истолковал это, как клятву.

— Вы — чужой и неизвѣстный нам человѣк, — продолжал он с прокурорской серьезностью, — мы с улицы приняли вас в дом, как гостя, посланнаго судьбою. Мы были рады служить вам, чѣм могли. В домѣ есть молодая дѣвушка. У нея есть жених. Откушав нашего хлѣба, вы пошли в кафэ и написали ей оттуда о любви. По человѣческой логикѣ это — как будто ничтожно, не правда ли?

— Да, — отвѣтил я.

— Теперь скажите мнѣ, как у вас, русских, выражается самая сильная форма презрѣнія?

— Вы можете плюнут на меня с высоты тринадцатаго этажа, — отвѣтил я.

Папа улыбнулся и сказал:

— Только тринадцатаго? — и добавил: — а я плюю с высоты двадцать шестого этажа и не на вас, мой милый друг, а на человѣческую логику. Поняли? Я бы поднялся и выше, но сердце, какіе-то там клапаны, не позволяют. Вы

поступили правильно, мой друг, спросив в кафэ чернильницу. То, что вы написали, прекрасно. Так должно и быть. Вы мнѣ можете повѣрить, что на своем вѣку я людей видывал. И разбираться в них научился. Я увѣренно говорю, что корыстных цѣлей у вас нѣт... А если человѣк пишет о любви, — то, что тут плохого? Теперь: ваши намѣренія?

— Я мог послать письмо, но никаких намѣреній у меня не смѣло быть, — отвѣтил я.

— Ваши планы?

— Я сегодня вечером уѣзжаю в Париж.

— Дениз выѣхала в имѣніе, — сказал папа. — Это километров восемьдесят отсюда. Я еще многаго не понял, но мнѣ кажется, что она, по отношенію к вам не сохраняет безразличнаго спокойствія.

Свою мысль папа облек в только приближающіяся к ней слова, как министр, отвѣчающій на запрос в англійском парламентѣ. Я постарался попасть в этот стиль и отвѣтил:

— Если я вам скажу, что в моем сердцѣ не вспыхнуло сожалѣнія, вы можете мнѣ не повѣрить.

— Почему же сожалѣніе? — удивленно спросил папа.

— Я вспоминаю, что у Дениз есть жених, Аль.

Папа встал и торжественно выпрямился во весь свой большой и величественный рост.

— Друг мой! — сказал он, — вы, вѣроятно, успѣли понять, что перед вами — человѣк (папа тонко улыбнулся), которому можно вѣрить. Так вот, благоволите понять, что мнѣ важен не Аль, не вы, не третій, не десятый и не сто первый. Мнѣ важно одно: счастье моей дочери. И, если

Дениз захочет пойти к вам, я ее пошлю к вам. Если она через три мѣсяца уйдет от вас к Алю, я не стану ей поперек дороги и не буду говорить жалких человѣческих глупостей. Вы меня понимаете?

Я хотѣл отвѣтить, но папа перехватил паузу и добавил:

— Знаете ли вы, милостивый государь, что женщинѣ дан дар никогда не ошибаться. Если вы одной из них скажете это, она первая разсмѣется вам в глаза, но это так. Знаете ли вы, что если бы женщинам не мѣшали и не ставили препон ваши законы, ваши правила, ваши мораль, то земля была бы населена не сопляками, а полубогами? Знаете ли вы, что земля и женщина — одно естество?

Папа с шумом отставил рыцарское кресло и пошел в другой конец комнаты. Только теперь я замѣтил, что в углу была еще одна узенькая и тоже железная с золотом дверь. Он отпер ее другим и опять-таки замысловатым и большим ключем, жестом пригласил меня приблизиться и предупредил, поднимая палец:

— Ни один еще человѣк не переступал этого порога!

Я вошел. Посреди небольшой готической часовни, на мраморном постаментѣ, возвышалась статуя обнаженной женщины с чертами Дениз.

— Это не Дениз, — сказал папа, поняв мои мысли, — это ея мать.

Как в павильонѣ Венеры Милосской, по стѣнам часовни висѣли длинныя полотнища синяго спокойнаго бархата.

— Смотрите, как полна и стройна ея грудь, — говорил папа, — любуйтесь линіей плеч и

шеи, царственностью живота и ног. Видите, под ея ступней могла пролетѣть ласточка, — греческое требованіе красоты. Стоило из-за этого, хотя бы богу бросить небеса, спуститься на землю, облачить тѣло в ваши бездарные пиджаки и жилеты и заниматься тлѣном человѣческих дѣл?

Я не понял вопроса, но взглянув на зеленые огни, горѣвшіе уже безпрерывно, глухо отвѣтил:

— Стоило.

— Что и было сдѣлано, — отвѣтил папа и сейчас же спросил: — сколько, по вашему, было когда мы с вами разговаривали у мраморнаго стола?

— По моему, нас было двое, — не без жути отвѣтил я.

— Двое! — с усмѣшкой сказал папа. — Сейчас вы начнете считать меня сумасшедшим, но нас было восемь, мой друг!

И папа, не моргая, смотрѣл мнѣ в глаза.

— На мраморных табуретах сидѣли: Юнона, Венера, Меркурій, Посейдон, Бахус и Марс. Это был семейный совѣт. И больше скажу вам: вы им понравились.

Я тайно благословил парижскій Монпарнасс и его населеніе, которые за десять лѣт выработали во мнѣ привычку прежде всего — ничему не удивляться.

— Вы думаете, — продолжал папа, приближаясь ко мнѣ вплотную, — перед вами чудаковатый, скрыто-сумасшедшій купец, жадный работорговец? Мое настоящее имя извѣстно вам с дѣтства. Я — Юпитер, мой друг!

— Хвала тебѣ, великій бог! — смиренно отвѣтил я, склоняя голову.

— Дениз — полубожественнаго происхожденія, и если я вам первому открываю свою тайну, то потому, что вам суждено, быть может, приблизиться ко мнѣ, как к отцу. И потом я помню слово джентльмена, не правда ли? Тайна — и позорная, рабская смерть за ея несоблюденіе? Да?

— Да! — клятвенно подтвердил я.

— Теперь я открою вам, как все это случилось.

В часовнѣ все время слышался ритмическій однотонный звук. Только сейчас я понял, что это, по стеклянной цвѣтной крышѣ, выстукивает свои пѣсни упрямый, вѣчно-бодрствующій, безсонный антверпенскій дождь.

IX.

Чудо Юпитера.

«Жил лѣт сорок тому назад нѣкій бельгійскій купец, так начал Юпитер и, немного подумав, добавил: — мерзкая и темная личность. В тѣ веселыя и предпріимчивыя времена царствовал отличный коммерсант, талантливый король Леопольд, — и наш купец оперировал в Конго, и по жестокости, и жадности был первым из европейцев. Деньги и только деньги было его девизом. Он любил дѣвушку, жившую здѣсь, в Антверпенѣ. И, вот, однажды, с высоты небес, я замѣтил ее. Вам, конечно, извѣстны и нѣкоторыя мои исторіи и картины Тиціана и Корреджіо, на которых эти итальянцы написали яко-бы моих любовниц. Очень глупы всѣ эти сказки с лебедем, с облаком, как у берлинскаго Корреджіо, с денежным дождем. И Катерина

Корнаро, которая охотно раздѣвалась в мастерской Тиціана, — совсѣм не в моем вкусѣ. У ней — жестковатый живот, слегка уроливый пупок и некрасивая ступня, без той горки подъема, оторую вы видите в этой мраморной ногѣ — и Юпитер нѣжно и задумчиво погладил ногу статуи.

— Когда этот мерзкій бельгіец переполнил чашу моего терпѣнія, я выгнал из его тѣла душу и вселил ее в змѣю. И, вот, он теперь. Если угодно, взгляните.

Юпитер подошел к черному ящику и, как демонстратор в музеѣ, сдернул с него кусок бархата. В ящикѣ, за желѣзной рѣшеткой и зеркальным стеклом, лежала огромная рыжеватая змѣя, одновременно блеснувшая копіем жала и безстыдно-злыми глазами. В этом взглядѣ сдерживался такой напор ненависти, который заставил меня вздрогнуть. Змѣѣ было тѣсно и своим тѣлом она образовала шесть концентрических кругов. Под днищем ящика стояла цинковая ванночка с теплой водой, а под ванночкой — стеклянная спиртовая лампа. Ея голубоватый и беззвучный язычек лизал цинк.

— Видите? — с мстительным выраженіем лица говорил Юпитер: — как ему сладко здѣсь, бельгійскому прохвосту, какой цѣной он искупает свои дѣла? Видите, ему даже пошевелиться нельзя, он никогда не может развернуть своих колец. Он отдал бы жизнь за возможность потянуться или хоть минуту проползти по травѣ. Вот ад, котораго заслужил этот мерзавец. Он понимает всѣ наши разговоры, и мучается ревностью. Смотрите, как он слушает нас.

Змѣя, дѣйствительно, слушала с пристальным и презрительным вниманіем. Между про-

чим, она ни разу не взглянула на меня, но на Юпитера смотрѣла с такой ежесекундно увеличивающейся ненавистью, которую даже со стороны было трудно вынести.

— Ты помнишь, спрашивал ее Юпитер: — александрійскій рынок, караван эфіопских мальчишек, которых ты поотнимал у матерей? Ты продавал их на вѣс, как кроликов. Ты бросал в колодезь негритят, заболѣвших корью. Эти вопли, эти стоны сверлили мозг, но ты жил одной мыслью: там, на сѣверѣ, в Антверпенѣ, тебя ждет красавица, не чета Катеринѣ Карнаро, — с которой сластолюбивый Тиціан написал бы не пять, а пятьдесят пять портретов... Этот звѣрь хотѣл овладѣть совершеннѣйшей красотой, но тут получил от меня щелчек. Я всегда держу этот ящик при себѣ и, даже отправляясь в путешествіе, беру его с собой и навожу ужас на таможенных надсмотрщиков. Сам же я вселился в его тѣло, пріѣхал в Антверпен и, богатѣйшій купец, зависть всѣх гильдій, завладѣл дѣвушкой. В его обликѣ я исполнил всѣ ваши человѣческіе обряды, отстоял службу в брюссельском соборѣ св. Гудулы, нас вѣнчал смѣшной бритый архіепископ в красной мантіи и я даже цѣловал перстень на его пахнувшем табаком пальцѣ. Надо вам сказать, что двѣ тысячи лѣт я не появлялся на землѣ. Эта маленькая и своенравная песчинка устремилась к другим богам, изгнала меня и разрушила всѣ мои храмы, — даже римскіе! Я подумал: хотите жить без меня, по своим новым правилам? Пожалуйста. И, вот, через двадцать вѣков я снова захотѣл взглянуть на человѣческое стадо. Ну и устроились! Костры, тюрьмы, казни, войны, пытки, homo homini lupus est. Знаете ли вы, что такое земля?

— Маленькая и своенравная песчинка? повторил я его же слова

— Не то! отвѣтил Юпитер: — это мой черновой набросок. Если хотите — это мой маленькій театрик, который я устроил от скуки. Сократ — герой резонер, Клеопатра — героиня, Юлій Цезарь — первый любовник, Нерон — комик-буфф. Несложная бутафорія, четыре декораціи: зима, лѣто, весна, осень. Думал: понравится, — создам жизнь на других, болѣе обширных мірах. Увы! Люди оказались таким безнадежным быдлом и такими бездарными комедіантами! Рубят воздух руками, и хуже: глупостью своих страданій смѣют оскорблять путь звѣздный! Сколько идіотскаго мозга, претензій, самовлюбленности, гордости, неуваженія и к жизни и к смерти!

— А что вы считаете самым большим человѣческим идіотством? — спросил я тоном интервьюера из солидной газеты.

— Вашу цивилизацію, — отвѣтил Юпитер.

— Почему? — спросил я.

— Слушайте, сказал он: — в вашей религіи вы привыкли к притчам. Ну так вот. Нѣкій человѣк ждет гостей и с вечера зажарил добрый кусок телятины. Ночью его собака стащила эту телятину и съѣла. Что дѣлает утром человѣк? Он бьет собаку и выгоняет ее из своего имѣнія. Что дѣлает собака? Она плачет, скулит, визжит и царапает ногтями дерево ворот. Это — естественно. Но что бы вы сказали, если бы собака в припадкѣ раскаянія, вдруг смастерила бы штаны, надѣла бы их и в таком видѣ явилась к вам? Вы подумали бы: собака взбѣсилась. Теперь. Вы, люди, нарушили данную вам заповѣдь и вас выгнали из рая. Естественно, что

вы должны были бы плакать, биться головой о стѣну, грызть кулак, или вырвать язык, чувство вкуса. Что же дѣлаете вы? Вы вдруг ни с того, ни с сего начинаете стыдиться вашей наготы. Почему? При чем тут нагота? Чѣм она была виновата в данном случаѣ? Но устыдившись наготы, вы надѣли вокруг пояса связку виноградных листьев, т. е. первый варіант штанов. Что это такое? Гдѣ логика?

— Логики, как будто нѣт, отвѣтил я.

— Почему же это люди сдѣлали?

— Не могу понять.

— Не можете понять?— сурово спросил Юпитер, — а на самом дѣлѣ все очень просто. От горя люди сошли с ума и поэтому, ни с того, ни с сего напялили на себя штаны. Поняли?

— Понял, — отвѣтил я: — но я не могу понять, в какой связи это стоит с цивилизаціей?

— В какой связи? — сказал Юпитер: — в связи самой очевидной. Ибо вся ваша цивилизація построена на этом стыдѣ наготы, на стыдѣ необъяснимом, нелогическом, сумасшедшем. На ложном стыдѣ люди построили ложную цивилизацію и вот тот источник, который отравляет вашу жизнь. Рай — это земля и вы, дѣйствительно, изгнаны из него. И только одна собака добровольно ушла с вами. Все остальное: звѣри, птицы, насѣкомыя, оставшіеся в раю, ненавидят вас, изгнанников. Вмѣстѣ с вами все звѣрье ненавидит и измѣнницу — собаку: вот почему кот всегда готов ей выцарапать глаза. Вам было дано тридцать чувств: из них двадцать пять вы уничтожили шерстью ваших пиджаков, крахмалом ваших воротничков, кожей ваших сапог. Тысячи лѣт вам нужно было ждать Коперника, чтобы догадаться о движеніи земли,

а самый обыкновенный пѣтух знает это через двѣ секунды послѣ своего появленія из яйца. Он не только знает его, это движеніе, он наслаждается им, как каруселью, и его крик, его кукареку означает команду: «крутись веселѣй!» В головѣ самаго ординарнаго воробья больше знаній, чѣм в головѣ самаго прославленнаго вашего профессора. И эти ваши знанія! Ваше послѣднее яблочко, сорваное с райскаго дерева, аэроплан. Весь пернатый мір грохнул со смѣху, когда вы на этом чудовищѣ, треща мотором и воняя бензином, поднялись к облакам! И добро было бы, если бы на нем сидѣл поэт, но вы, вѣдь, первым долгом посадили туда солдата. И вот слѣдующее яблочко, которое вы сорвете, будет газ, в полчаса разрушающій такой город, как Париж. И в один неизбѣжный момент, от яблочек, вы и ваши дѣти, и ваши цивилизаціи, — всѣ умрете смертію, как вас и предупреждает о том, самыми ясными словами, первая глава Бытія. Вы ничего не слышите, не видите, не понимаете вокруг себя. Вы, вот, музыкант. Что слышите вы сейчас?

— Шорох дождя на стеклянной крышѣ, — отвѣтил я.

— Шорох дождя, только шорох! — презрительно сказал Юпитер, — это называется человѣческія уши! Вот я сейчас натяну колки вашей барабанной перепонки. Что слышите вы теперь?

Странно: шорох капель обратился в журчанье музыкальнаго ящика. Через секунду я понял, что он играет пріятную пѣсенку, в родѣ тѣх, которых любил сочинять Люлли.

— Слушайте дальше. Я еще болѣе подтягиваю ваши колки! — сказал Юпитер.

И через секунду я слышал странный, огромный рояль, не меньше, чѣм двѣнадцать октав. Исключительный піанист, котораго я не мог бы сравнить ни с одним из современников, играл что-то, напоминающее первую бетховенскую сонату.

— Не плохо, не правда-ли, звучит антверпенскій дождь? — иронически спросил Юпитер.

— Вы совершили чудо, великій бог! — отвѣтил я.

— Ничего здѣсь нѣт чудеснаго: это обыкновенная музыка дождя, — отвѣтил Юпитер: — послушайте-ка вот это теперь.

И я услышал оркестр. Но, Боже мой, что это был за оркестр! Только за скрипичными пюпитрами сидѣло не менѣе ста первоклассных музыкантов. В сравненіи с их инструментами каким ничтожеством оказались бы самые прославленные страдиваріусы! Віолончели, дѣйствительно, превратились в небесные голоса: так должны играть ангелы в райских картинах Беато Анжелико. Какіе альты, трубы, флейты, фаготы, волторны! Тромбоны — вѣроятно из тѣх, которыми создаются іюньскіе громы.

Вот, прозвенѣли по полутонам арфы, к струнам которых прикоснулись пальцы вѣтра, — и вдруг меня охватил ужас, я затаил дыханіе и чувствовал, как каждая капля этого ужаса превращается в несказуемый восторг. У меня перестало биться сердце, ибо этот несравненный, никогда неслыханный на землѣ оркестр играл мою симфонію, которую нѣсколько дней тому назад я окончил в этом антвѐрпенском домѣ. Но как жалки были мои человѣческія мыслишки, моя изобрѣтательность, мой темперамент, воспламенившійся от сѣрых глаз дѣвки из Маже-

стика, как неуклюже и аляповато было мое andante, — и как все это сейчас божественно разрослось, как полноводна стала рѣка моей музыки, — и душа Россіи раскрылась предо мною и затрепетала, живая, великая, буйная и безсмертная!

— Укрѣпи мою память, великій бог! — крикнул я Юпитеру, — я — слаб и несовершенен, я забуду все и не донесу твоего дара до конца!

И, вдруг, в музыку ворвались посторонніе, сухіе и ничтожные звуки. Кто-то стучал в дверь и вопил:

— Вы проспите ваш поѣзд, уже осталось только пятнадцать минут.

— Пошел к черту! — с отчаяніем вскричал я и увидѣл свою комнату и отцовскій чемодан.

— Вы сами просили отнести ваш багаж на вокзал. Откройте дверь! — кричал голос.

— К черту!

— С меня взыщет управляющій, если я не разбужу вас!

Я бросился к двери, чтобы убить кричащаго, и увидѣл грумма и улыбающуюся Дениз. Она была в кожаном пальто и такой же шапочкѣ, и по ним струилась дождевая вода.

X.

Отъѣзд.

Дениз смотрѣла на меня весело-вопросительно. Около нея вертѣлся грум, все время одергивавшій сзади свою узкую курточку. На лицѣ у него лежала озабоченность, осѣненная ярким желаніем заработать. Чемодан манил его, как собаку — кусок мяса. Он понимал, что появленіе Дениз еще больше осложняет путаницу.

— Простите, что я обезпокоила вас, — это были первыя слова Дениз: — но я получила ваше письмо и ничего не могла в нем разобрать. По разсѣянности вы написали его по-русски. Прочтите его вслух. Я хочу слышать, как звучит русскій язык.

Раздѣльно, с чувством, с толком и разстановкой я начал читать хитроумное посланіе Мефистофеля.

— Милая Дениз! — писал он своим вычурным, спеціально выработанным, бьющим на шик и небрежность почерком: — завтра я уѣзжаю и знаю, что по правилам вѣжливости надо бы зайти к вам и проститься. Но меня, первый раз в жизни, охватывает непонятная, невѣроятная робость, и я ограничиваюсь тѣм, что пишу эти строки. Пишу их по-русски с тѣм расчетом, что если вам захочется их перевести, то вы не так-то скоро найдете в вашем городѣ переводчика: во всяком случаѣ, я в это время буду уже в Парижѣ, на террасѣ какого-нибудь монпарнасскаго кафэ, в которых я провожу всѣ свои свободные часы. Благодарю вас и вашего отца за ту ласку и вниманіе, с которыми вы встрѣтили меня, бездомнаго бродягу, котораго вѣтер гонит по дорогам и жнивьям, как осенній желтый лист. Судьба странно столкнула нас и, если хотите правды, я бы очень хотѣл еще раз повидать вас, но, конечно, без Аля, к которому как-то не лежит моя измученная душа. Прощайте. Будем, каждый по своему, заполнять антракт, положенный человѣку между его колыбелью на колясочках и колыбелью без колясочек. Кланяется вам и папа-директор, мой первый друг и веселый человѣк, человѣк московской, безпредѣльной души.

Дениз слушала меня, как слушают отдаленную музыку.

— Как хорош ваш язык! — сказала она: — вам не кажется, что гласныя буквы похожи на окошечки в стѣнѣ согласных? А — стекло бѣлое, о — желтое, и — синее, у — фіолетовое, ю — зеленое, я — голубое...

Я перевел посланіе.

С первой куклой у дѣвочки начинают теплиться огоньки материнства, а перед ней, уже семнадцатилѣтней, почти созрѣвшей дѣвушкой, стоял взрослый человѣк, душу котораго осѣняет робость и нерѣшительность: какими лисьими петлями директор предпринимал свое наступленіе!

— Когда вас навѣщают дамы, — спросила Дениз, — вы их приглашаете сѣсть?

— Ах, Боже мой! — спохватился я, придвигая кресло с салфеточкой для головы, — но, право, я — вѣжливый человѣк. Вѣроятно, — я очень смѣшон.

Дениз достала из сумки зеркальце, переплетенное в кожу. Было трогательно, что и у ней оно было запущенное, как маленькія походныя зеркальца всѣх женщин: на стеклѣ слѣды пудры, отпечатки пальцев. Она протянула его мнѣ, чтобы я убѣдился смѣшон я или нѣт. Я комически встревожился и разсматривал свое лицо то одним глазом, то другим. Потом повернулся так, чтобы увидѣть ухо, и, наклонившись, пригладил волосы, торчавшіе на затылкѣ. Дениз благосклонно, по-гимназически, смѣялась над моей неуклюжестью.

— Наша труппа уѣхала еще утром, — сказал я, чтобы начать разговор.

— Ваша труппа благополучно находится еще

на вокзалѣ и уѣзжает только сейчас, — отвѣтила Дениз.

— Как так? — спросил я, искренно удивленный.

— Очень просто. Вашего бѣднаго директора задержала полиція. Он там что-то не заплатил, какія-то недоимки. Оказывается, что вы прогорѣли.

Я от души разсмѣялся.

— Вы смѣетесь, когда ваш друг попадает в бѣду? — спросила Дениз удивленно.

— Но, однако, если мой друг уѣзжает сейчас, значит, он нашел в послѣднюю минуту чѣм заплатить?

— Ничего подобнаго, — отвѣтила Дениз, — он позвонил к нам по телефону и за все уплатил папа.

— Как?

— Ваш вопросительный знак — высотой до небес, — сказала Дениз, — ну да, папа дал ему взаймы. В этом совсѣм нѣт ничего особеннаго. Всегда выручают друзей. Тѣм болѣе, что он все обѣщал выслать из Намюра.

— Но наша ближайшая поѣздка предположена в Испанію!

— А из Испаніи, значит, в Намюр! — упорно не сдавалась Дениз, и я почувствовал в ней отдаленное вѣяніе того, что называется характером. Стало ясно, что она, если вѣрила, то умѣла вѣрить до конца: это в ней было подлинной женской чертой.

— Боже мой, какой наглец, — невольно вырвалось у меня, — какой проходимец!

— Теперь у вас пошли знаки восклицательные, — отвѣчала Дениз: — и тоже преувеличенные. Вы учились по классу трагедіи? Ваш

директор — преблагороднѣйшій человѣк. Папа предлагал ему на пять тысяч больше, но он отказался, и голос его блеснул свѣтским холодком. Он сказал, что пусть лучше труппа поѣдет в третьем классѣ, но он никогда не возьмет лишних денег!

— Милая Дениз! Но мы же всегда ѣздим в третьем классѣ!

Дениз сначала посмотрѣла на меня недовѣрчиво, потом ея мысль, видимо, перешла в другія области, в глазах промелькнули золотисто-брызжущія искры и все это вылилось в легкій заразительный смѣшок.

— Ну, а если он даже обманул и деньги пропали, то вам-то что? — спросила она и добавила: — папа не обѣднѣет.

— Деньги не пропали, — отвѣтил я: — деньги возвращу вам я. Я его ввел в ваш дом, — я за него и отвѣчаю.

— Вас это не касается, — отрѣзала Дениз холодно.

— Недаром я во снѣ видѣл змѣю...

— К непріятностям, — серьезно сказала Дениз.

— Потом мнѣ снилась музыка, великолѣпный оркестр...

— Ждите новостей, — тоном гадальщицы отвѣчала Дениз.

— Жаль, что я не успѣл записать музыки. Проклятый грум помѣшал.

— Проклятый грум и проклятая Дениз. Она тоже настаивала на вашем пробужденіи.

— Вы — самая прелестная часть моего сна, Дениз, — отвѣтил я: — я с вами разговариваю второй раз в жизни, а на душѣ такая легкость и простата, будто я знаю вас лѣт пять. Сон про-

должается. Глаза ваши — слегка насмѣшливы. Вы смѣетесь над чудаком, в котораго по невидимой леечкѣ вливается яд влюбленности.

Дениз хотѣла отвѣтить но в это время грум опять стукнул в дверь. Она сказала ему что-то по-фламандски, он вошел в комнату и остановился, вытянул руки по швам, и в своей форменной курточкѣ, с разводами блестящих пуговиц, был похож на игрушечнаго солдата.

— Бери чемодан и неси его в мой автомобиль! — скомандовала Дениз.

Грум, показывая лихость, хотѣл рвануть с пола чемодан, и в этой лихости сказалось желаніе щегольнуть силой перед хорошенькой женщиной. Но рукописи дали себя знать, грум крякнул, и на лбу его около волос сразу выступили капельки молодого, росистаго пота. Замѣшательство, однако, было мгновенное и вызвав резерв сил, грум потащил чемодан, как ведро с водою, отставив лѣвую руку для баланса.

— Куда вы намѣрены меня везти? — спросил я.

— На границу, — отвѣтила Дениз: — мы перегоним вашу труппу.

Дениз отвѣчала отрывисто, и мнѣ показалось, что она разсердилась не то на мои слова о влюбленности, не то на появленіе грума.

— Гдѣ ваша мать, Дениз?

— Умерла.

— Вы ее помните?

— Слегка.

— Вы на нее похожи?

— Говорят.

Дениз была сердита.

Я встал, надѣл пальто. Привычный путе-

шественник всегда испытывает особое чувство при разставаніи с комнатой в которой он прожил какую-то частицу бытія. Есть комнаты дружескія, враждебныя и безпокойныя: особенно безпокойны тѣ, в которых случались самоубійства или крупные карточные проигрыши. В эту минуту темноватая антверпенская показалась мнѣ солнечной. Повинна в этом была, конечно, Дениз: от нея исходили и свѣт и тепло. Я улыбнулся своим мыслям. Дениз, слѣдившая за всѣми моими движеніями, замѣтила эту улыбку и ничего о ней не разспросила.

Ясно: Дениз — сердита.

Пошли по лѣстницѣ. По человѣческим правилам, дѣвушка, приходившая в подозрительную гостиницу к одинокому человѣку, могла бы смутиться, тѣм болѣе, что в таких случаях всегда почтительно-уничтожающими бывают взгляды кассиров и консьержей. Дениз шла, как по лѣстницѣ своего дома, и в этом отсутствіи грязных тревог было то невозмутимое, не от міра сего, спокойствіе, какое, вѣроятно, бывает у ангелов, когда им приходится ходить по грѣшным дорогам. Выйдя из отеля, она не посмотрѣла с безпкойством ни направо, ни налѣво (о, как я знаю этот взгляд!), а просто и не спѣша подошла к автомобилю, около котраго, с солдатской напряженностью, стоял маленькій, румяный, посвѣжѣвшій на воздухѣ грум.

Автомобиль был длинный, похожій на барку, в центрѣ которой воздвигнута маленькая двухмѣстная каретка. К запаху отлично выдѣланной кожи примѣшивался аромат цвѣтов, привѣшенных в продолговатом стаканчикѣ у окна. Черным перчаточным пальцем с пустым концом Дениз прикоснулась, как к звонку, к перламут-

ровой кнопкѣ, и через секунду у меня возникло ощущеніе, которое бывает, когда трогаются сани и полозья начинают скользить по накатанной морозной, градусов на пятнадцать, дорогѣ. Совершенно не чувствовалось движенія колес. Судя по стрѣлкѣ, скорость постепенно увеличивалась, но нельзя было замѣтить, когда это происходит. На поворотах улиц стрѣлка откатывалась налѣво, но за городом она твердо стала на цифру сто. Дениз закусила губы, глаза ея смотрѣли перед собой почти не моргая, и было в ней что-то, похожее на амазонку. Сравнивая ее то с ангелом, то с амазонкой, пришлось понять, что я ею любуюсь. И потом, видя низкое бѣдное небо, асфальтовое шоссе, желтый дым из колоннады фабричных труб, я еще понял, что ощущеніе санной ѣзды получилось у меня по простой причинѣ: до сих пор мнѣ никогда не приходилось ѣздить в такой велколѣпной, спокойной и послушной машинѣ.

За всю дорогу Дениз не сказала ни слова.

На невысокой насыпи показался поѣзд. Автомобиль начал догонять его с тѣм упорством, с каким собака преслѣдует зайца. Вот стало видно, как покачивается задній вагон. Вагоны были коротенькіе, похожіе на ярмарочныя повозки, — тѣ самые, в которых, по коллективному тарифу, привыкла странствовать наша труппа. Вот мы уже поравнялись с серединой поѣзда. Первый и второй классы — пусты. В третьем, со множеством боковых дверей, пассажиры у окон играют в карты, ѣдят, курят. Вдруг вижу бритую, остриженную ежом, старообразную рожу Васеньки. Машу ему платком. Васенька, сдѣлав руки шорами, всматривается, узнает меня, радостно открывает рот и кого-то зовет.

К стеклам возбужденно прилипает вся наша коротконогая компанія. И, вдруг, как Гулливер, показывается среди них директор. Пшютовски раззявив рот, он вставляет в глаз монокль, критически всматривается в нас, узнает мою сосѣдку, приходит в радостное состояніи и, схватившись за петли, пытается опустить раму. Рама не поддается и в это время я вижу, что рядом с радостным Васенькой, как привидѣніе, сидит чужая и в то же время странно знакомая мнѣ женщина. Сильно придавив вѣками глаза, я вызвал усиліе памяти и понял: это была женщина из Мажестика. Влюбленный Васенька увозил ее в Париж.

Стрѣлка колыхнулась направо и поползла к ста десяти. Мы, с гордой побѣдоносностью, обгоняем поѣзд.

XI.

Комедія.

По автомобилю скользнула узкая косая полоса, потом вторая, третья... Боже мой! Я насилу понял, что это тѣни телеграфных столбов. Неужели солнце еще в силах пробуравить пласты небесных грифельных гор? Однако, присмотрѣвшись, я увидѣл среди них дыру, затянутую прозрачно-фіолетовой пленкой. По краям она была обведена серебристой лентой и походила на древнее египетское стекло. В то же время что-то похожее на согрѣвающее дыханіе вливалось в сырой воздух, из котораго скорость автомобиля дѣлала вѣтер, бившій по лицу с звѣриной силой. И как-то сразу стало ясно, что Франція — близко.

Исторія с директорским займом меня бѣсила. Я проклинал себя, что ввел его в дом Дениз, ибо знал, что легче вынуть желток из неразбитаго яйца, чѣм получить долг с директора. Злила его безцеремонность и какое-то злокачественное отношеніе к деньгам. Было стыдно перед людьми, которые с такой доброй готовностью отнеслись к неизвѣстным и чужым пришельцам, как к друзьям.

— Дениз! — сказал я: — мы с вами друзья?

— Надѣюсь, — отвѣтила Дениз.

— У меня есть к вам просьба. Мнѣ нужно разыграть перед директором маленькую комедію, и ваша помощь мнѣ необходима.

— Тема вашей комедіи? — спросила Дениз.

— Тема слѣдующая: я влюблен в вас по уши; вы мнѣ отвѣчаете тѣм-же; Алю отказано; вы моя невѣста и провожаете меня до границы.

Дениз удивленно взглянула на меня и спросила:

— А как будет заглавіе вашей комедіи?

— Ловля обезьян на жадность.

Дениз усмѣхнулась и отвѣтила:

— Это интригует. Согласна.

На горизонтѣ выросла точка какого-то строенія, блеснуло красное пятно, потом окна отдѣлились друг от друга, и стало понятно, что это — большой вокзал, что круглое — часы, красное — черепичная крыша, а темное — навѣс над поѣздом. На всем ходу обогнув цвѣтник с фонтаном (как ненужны фонтаны в дождливую пору!), автомобиль рѣзко стал у центральнаго входа, и я чуть не хлопнулся лбом о стекло.

— Плохо я вас везла, жених? — спросила Дениз и в глазах ея была та же гордость и

снисходительность, которую я замѣчал у всѣх хороших кучеров, начиная со своего калужскаго Андрея.

— Почему же «вас», моя дорогая? — наставительно спросил я: — жениху говорят «ты». Спектакль скоро начнется и нам надо репетировать.

— Плохо я тебя везла, мой дорогой? — спросила Дениз и сразу послышалась та условность и повышенность тона, которая бывает у актеров, когда они начинают репетиціи и читают роль по тетрадкам.

— Ты везла меня отлично, — отвѣтил я. — Но мнѣ казалось, что ты слишком спѣшила. Мнѣ казалось, что ты хочешь поскорѣе сплавить в Париж своего стараго жениха, за котораго выходишь не по любви, а по расчету.

И, вдруг, не по тетради, а совершенно естественно удивившись, Дениз спросила:

— Развѣ я похожа на женщин, которыя выходят по расчету?

Это у режиссеров называется: «вызвать у актера натуральный тон», и я, тачно, сам себя похвалил за мастерство.

— О, моя милая! — сказал я: — прости меня. Вѣдь это я сказал от ревности, только от ревности.

— А ты к кому меня ревнуешь?

Боже мой, какая это актриса! Как она ведет діалог. Сколько искренности, темперамента, пониманія обстановки, женскаго лукавства и любопытства! Как у нея заблестѣли глаза! И какое удовольствіе ей отвѣтить:

— Я тебя ревную ко всѣм. Вот ты сейчас вернешься в Антверпен, пойдешь в кафе Блюмера и будешь смотрѣть на обольстительных

молодых людей, которые ходят, как коршуны, и так хорошо, отчетливо, по гвардейски, склоняют головы в знак привѣтствія. И у всѣх у них платочки уголком наружу.

Дениз поняла и, спрятав улыбку, спросила:

— Намек на принца Франсуа?

— На герцога Рейштадтскаго намек, — отвѣтил я тоном театральнаго Метерниха и добавил: — это отсебятина, Дениз. Никаких принцев нѣт. Всѣ принцы ушли в небытіе.

Я взял ее под руку, и мы солидной поступью пошли в буфет. Буфет был с тяжелыми дубовыми стульями, с декоративной рѣзной стойкой, с горой сандвичей. Солидно, как люди положительные, мы пили чай из фальшивых японских чашек и ѣли англійскіе солоноватые бисквиты. Я упрекнул Дениз, что у нея перчатки с пустыми концами. Она испуганно отвѣтила:

— Очень опасно провинціалкѣ выходить за парижанина. Все он замѣчает, все ему не так. Мы сейчас исправимся, — и она, невольно глядя на меня, начала разглаживать пальцы, и пустые концы исчезли.

— Чай он пьет непремѣнно с лимоном, — почему-то упрекающе добавила она и стало смѣшно.

Было досадно, когда на станцію вполз поѣзд, загородил окна и в буфетѣ сразу потемнѣло, зажглись нижнія лампы люстр, появились новые лакеи и началось обычное пограничное оживленіе. В залу ввалились лилипуты, засѣли за табльдот и Васенькина дама казалась среди них гувернанткой. Директор подсѣл к нам, заискивающе разговаривал с Дениз, но в глазах его сквозила скрытая тревога: по моему он вез большую партію игральных карт, боялся осмот-

тра и для храбрости пил Мартель двойными рюмками.

— Дениз, — сказал я громко, — ты выйдешь со мной на платформу?

— Непремѣнно, — отвѣтила она, — я хочу проводить тебя до вагона.

— Тогда тебѣ придется пройти через таможню?

— Бѣда небольшая, — отвѣтила она, — у меня вѣдь только вот эта сумочка. Я никого не задержу.

У директора выпал из орбиты монокль. Не моргая, словно только что проснувшись, он поочередно смотрѣл то на меня, то на Дениз. Потом протер кулаками глаза.

— Что ты смотришь, как баран на аптеку? — сказал я ему по-русски, — твои предсказанія сбылись. Я женюсь на Дениз.

— А Аль? — еле выговорил директор.

— Аль получил гарбуза.

Директор на всю залу крикнул: — «Нѣт!», застыл на нѣсколько мгновеній, потом так хлопнул в ладонь, что всѣм в залѣ показалось, будто гдѣ-то из бутылки вылетѣла пробка. Директор потребовал шампанскаго и всѣ лилипуты, услышав это, явно удивились. Шампанское подали теплое, полусухое, редереровское Аи, но Дениз пила его с тѣм удовольствіем, с каким дѣвушки пьют сладковатыя вина. Лилипуты ничего не понимали и смотрѣли на нас с завистью.

— Гдѣ-же правота? — кричал директор, цитируя Сальери, — когда все это дается не в награду самоотверженія, трудов, усердія, моленій, а дается безумцу, гулякѣ праздному? О судьба! — добавлял он от себя, — о индюшшка!

— И ты знаешь, что тесть дарит мнѣ в первую голову? — говорил я директору по-русски.

— Сто червонцев на мелкіе расходы? — ядовито спросил он.

— Театр в Парижѣ! — торжествующе отвѣтил я, — или купит готовый, или выстроит новый. Все сбывается по твоим словам. Ты — не бабка, а угадка. Тебѣ на ярмарках гадать.

Директор сразу попал в дѣловую струю и положил на стол локти.

— На кой чорт строить, имѣть возню, шары бары сухіе амбары, когда у меня есть нужное тебѣ дѣло? — с комиссіонерской вкрадчивостью заговорил он, — акустика это что нибудь особенное, рекомендую! — и он чмокнул в соединенные три пальца, — мебель только в прошлом году заново отремонтирована, красный бархат и на оборотѣ — пепельница. Не театр, а цимес.

Дениз прижалась ко мнѣ, взяла под руку и сказала:

— Милый! Говорите так, чтоб и я понимать могла! А то мнѣ скучно...

И директор снова крикнул:

— Нѣт, я не выдержу, я сойду с ума! Скорѣй отправьте меня в сумасшедшій дом, в дворянское отдѣленіе! Или держите меня сильнѣе: я за себя не отвѣчаю!

Потом он присмирѣл, явно пригорюнился, положил, как сирота, голову на руку и, отвѣчая собственным мыслям, грустно добавил:

— А то — слава... Что слава? Слава без денег — мертва есть.

Я спросил шампанскаго и угостил лилипутов. Лилипуты присоединились к нам, заняли очень мало мѣста и сидѣли на дубовых стульях

не доставая ногами до полу. Всѣ посматривали на них с изумленіем, а лакеи, наливая им вино, улыбались. Васенька побѣдно кричал:

— Вот город Антверпен! Всѣм нам удружил, но только я своего секрета никому не скажу! — И кивал на свою даму с восхищеніем. Мнѣ казалось, что она меня узнала, и, поднимая бокал, смотрѣла в мою сторону с смѣшливым выраженіем глаз. На столѣ появился миндаль, обжаренный в соли, серебрянныя ведра с водой вмѣсто льда, около нас с почтеніем кружил хозяин буфета и отдавал приказанія лакеям, значительно и сурово поднимая большой палец.

Я поставил ставку на здравый смысл, в высокой мѣрѣ присущій директору, и сейчас почти читал его мысли. Создавалась интересная «конъюнктура»: это было его любимое слово. Ясно, что если осуществится театр в Парижѣ, то он — ближайшій участник дѣла, компаньон, руководитель, администратор-делеге. Это значит: извѣстность, имя — на слуху; в газетах, — на четвертой страницѣ, портреты, интервьюшки по телефону, начинающіяся с тирэ и возгласа:— «алло». Контракты, завоеваніе рынка, шаг вперед, связь с хорошенькой актрисой. В такой обстановкѣ — не отдать долга — значит скомпрометировать и себя, и меня. Но в какой степени надежны всѣ эти перспективы?

В этом изломѣ размышленій директор испытующе смотрѣл на Дениз и тогда я, наклонившись к ней, тихонько, но внятно говорил:

— Когда пріѣдешь в Париж, остановись в «Лютеціи». Это близко к тому кварталу, в котором я живу.

— Гдѣ прикажешь, мой милый! — таинственным шепотком отвѣчала Дениз.

Рубикон был перейден. Директор удалился в угол и долго ворожил там над бумажником. По спинѣ, на которой натянулась матерія пальто, по сдвинутой на затылок шляпѣ, было видно, что он испытывает одно из самых сильных напряженій своей жизни. Вот, он зовет лакея. Тот правым ухом выслушал приказаніе и принес на подносѣ бумагу и конверт. Маленькое посланіе к римлянам — и директор приближается к нам, неся в руках толстый пакет. Обливаясь потом обновленной честной и солидной жизни, он подает пакет Дениз и говорит торжественно:

— Это — для вашего папы. Письмо и милліон благодарностей.

Потом спохватывается и встревоженно добавляет:

— В пакетѣ вложено десять тысяч.

Он смотрит на меня с торжеством. Я дѣлаю вид, что озадачен, ничего не понимаю, и что все это меня весьма интригует. Дениз не выдерживает и смѣется до слез, склоняя голову к столу.

XII.

Путь в Париж.

В православной церкви есть правило: не может быть посвящен в сан іерея вдовец, не достигшій сороколѣтняго возроста. Смысл правила, — мудр: от юности моея мнози борют мя страсти, но послѣ сорока лѣт наступает тот перелом в жизни человѣка, когда он уже — в силах обуздать их и бороться с ними.

И, вот, я снова (в который раз!) на пути в Париж.

Всѣ мои помыслы направлены в сторону той фигурки, которая сейчас, по политой смолой дорогѣ, мчит в Антверпен. Но... Моя юность прошла, мнѣ сорок лѣт и я борюсь с этими помыслами. Чтобы их отогнать, я искусственным напряженіем памяти вспоминаю австрійскую Кирлибабу, на вершинах которой мы стояли в разгар войны: горы, снѣг, заброшенность. Из долины, гдѣ стоит штаб дивизіи, старшій адъютант, котораго мы всѣ фамильярно зовем по имени: Ашот, сообщил мнѣ, что в этих трущобах придется пробыть до новаго года. Это значит: жить в землянкѣ, спать в тулупѣ, сапогах и шапкѣ; забыть о прикосновеніи к тѣлу теплой воды. И, вот, тогда, вечером, при свѣтѣ свѣчи из скернаго и быстротающаго стеарина, вспомнишь, бывало:

— А вот есть на землѣ город Париж и площадь Конкорд! Барбес-Рошешуар, Сен-Жермен д-Оксеруа...

Плѣняла звучность этих слов и я часто произносил их у костра, в великой воздушной пустынѣ, когда полукруг неба кажется особенно ясным и опускающимся вглубь, ниже той горы, на которой сидишь.

— Что и говорить! — вздыхая отвѣчал вѣжливый прапорщик Петя: — Париж — в него въѣдешь и угоришь — и добавил, обращаясь к солдату: — будьте так наивны, черпните еще стаканчик чаедралова!

Бывали времена перед войной, когда и я угорал, въѣзжая в Париж. Меня очаровывала простота и талантливость парижской жизни: возможность сидѣть за столикам на любом тро-

туарѣ, осѣненность каждой улицы деревьями, питье кофе у стойки, куренье в театрѣ, траурная марля на статуѣ Страсбурга, карточная игра в кафэ на особых ковриках, ярмарки, балы под двѣ гармоники, студенческія шуточныя дуэли на дорогѣ у музея Клюни, пѣсни Аристида Брюана, монмартрскія кадрили, отдаленная призрачность и пареніе над городом бѣло-сѣраго, туманнаго Святого Сердца, пиво на гробах в кабачкѣ Небытія, искуственные удавы на потолкѣ Ада и добродушный апостол из Рая, карусели в формѣ ночной посуды, любовь француза к шуткѣ и умѣніе понимать ее и принимать, кучерскіе цилиндры, чтеніе газет на козлах, катанье в Булонском лѣсу, опереточный выѣзд богатаго банкира с музыкальной трубой, гарсоны в полосатых жилетах и отели на лѣвом берегу, в которых живали Верлэн и Гамбетта. Нравились студенты, кружком засѣдающіе в Люксембургском саду и которых вечером с подругами всѣх увидишь у Бюлье; нравились художники и их застекленныя террасы на крышах домов; нравилась таинственность Обсерваторіи и лошади Карпо; темные ходы подземелій и кости людей, устроивших серію революцій; нравилось кладбище с именем, которое значилось во всѣх преступных романах, — Пэр-Лашез и волновали ивы над могилой Мюссэ, камни, под которыми лежали черепа Мольера и Рашели. На Монмартрѣ я с непонятным трепетом отыскивал склеп палачей Сансонов, и на Монпарнассѣ — могилу Мопассана. Часто на кладбищах сторожа жгли костры из увядших вѣнков, и тогда воздух третьяго или четвертаго часа пополудни наполнялся необъяснимым, грустным и молитвенным очарованіем. Нравился

Лувр и его длинный, до льдистости навощенный коридор, напоминавшій петербургскій университет. Нравились воробьи в Тюильри и старик, кормившій их и увѣрявшій, что разсказы о том, что они приносили гвозди мучителям Христа — вздорная выдумка. Нравились даже ночные комиссіонеры, в районѣ Континенталя, предлагавшіе посмотрѣть, «на каком пьедесталѣ поставлено в Парижѣ это дѣло». И перед утром — возвращаться домой на клячкѣ, которая везет со скоростью погребальной процессіи, останавливаться на мосту и проснувшимися глазами посмотрѣть в сторону версальских и медонских лѣсов, откуда плывет опаловый туман, припадающій к похолодѣвшим водам Сены, — и в нем, как лодка Харона, скользит куда то вниз неторопливая баржа; услышать час серебристаго хрустальнаго колокола и понять, что уже близко солнце, возвращающееся с другого земного берега, и озябнуть, и почувствовать, что владыка сна хочет взять свое и повеселить тебя видѣніями, в которых сольет в одну кашу и этот туман, и милое лицо танцовальщицы Гулю, и Гоголя, который ѣсть жаренаго орленка, и московскій оркестріон, вал котораго усыпан гвоздиками и играет «Не бѣлы снѣжки».

Цѣпь этих воспоминаній можно продолжать до безконечности, но, увы, и в сорок лѣт не легко отмахнуться от сладости страстей.

Никакія воспоминанія и перечисленія былых волненій не заслоняет дѣвушки, в которой я разбудил зов актерства и которая, доигрывая роль до конца, на прощанье закинула руки мнѣ на плечи, смотрѣла в глаза серьезно-пристально, особым женским фотографирующим взглядом, словно запоминая лунный рисунок радуж-

ной оболочки, потом притянула мою голову к себѣ, губы к губам, и я ощутил запах ея лица, напомнившій аромат іюльских, незакраснѣвшихся яблок. От этого приближенія ея глаза казались мнѣ страшно далеко разставленными друг от друга, а поцѣлуй отравил кровь не сразу, а постепенно, и его дѣйствіе начало сказываться только тогда, когда поѣзд шел уже среди путаницы рельс и когда стали видны городскіе дома, третьи этажи которых были на уровнѣ моей головы. Дениз оставила во мнѣ какую то частицу себя, может быть — капельку от влажности своих зубов, и это было как причастіе от ея тѣла: я понимаю высокопарность этих слов, но иных искать не хочу.

Кант пронаблюдал, что человѣк никогда не может представить своего полнаго уничтоженія и это — одно из доказательств безсмертія души. Я не могу представить себѣ, что больше никогда не увижу Дениз, и это тоже какое-то доказательство. Это — старость? Будем с ней бороться. Нам — сорок лѣт.

Присмотрѣвшись к Россіи и особенно — к ея театру, тропинками и дорогами котораго она поднялась на высоты, которых современный Париж не знал ни в одном из своих искусств, я, в слѣдующіе пріѣзды, начал ощущать его провинціальность. В Опера-Комик уже нельзя было высидѣть дольше второго акта. За то, что дает Опера, мы в петербургском Народном Домѣ платили один гривенник. Французская комедія — это только Корш, переѣхавшій в роскошное помѣщеніе. В других драматических театрах не было сил перенести опошленія любви. О, как я тогда понял того молодого парижскаго драматурга, который печатно имѣл

смѣлость умолять своих коллег не писать о любви в теченіе десяти лѣт в надеждѣ, что за этот срок французское писательство отдохнет, наберется новых сил и свѣжести и создаст что-нибудь равное «Тристану и Изольдѣ».

Потом я понял, что это не провинціальность, а обыкновенная старость. Французы и русскіе это — старик и юноша.

Молодость, страсти, ошибки, ум, еще не дисциплинировавшій в себѣ законов здраваго смысла, самоувѣренность, запалчивость, нерасчетливость, переоцѣнка сил, — это чуждо старику и от всего этого он отмахивается словами: «славянская душа». Он уже не может вспомнить, что такая же душа когда-то была у него самого. Но..... всему свой черед; постарѣем и мы и в свою очередь удивимся какому-нибудь новому народу, который явится нам на смѣну со своими Наташами, Лизами, Марьянками, Грушеньками и Мисюсь. Наши дни и теперь не стоят на мѣстѣ и уже чудаковатым кажется Бѣлинскій, звавшій в театр умирать. Умирать мы предпочитаем в других, болѣе для этого приспособленных мѣстах.

В этом мѣстѣ голова начинает хитрить. Ей надоѣли размышленія. Она обращает вниманіе глаза на вагон. Поддаюсь искушенію и произвожу невинныя наблюденія: да, вагон — добротный и коридор со своими входами в купэ напоминает маленькую гостиницу. Освѣщеніе — ярко, даже больше, чѣм слѣдует, и лилипуты спят, закрыв лица газетами. Я предчувствую, что сейчас катушка начнет кружиться назад и я снова увижу пограничную станцію, платформу и дѣвушку в кожаном пальто. Дѣлаю усиліе

воли и хочу задержать дѣйствіе, — и, вдруг, у самаго уха слышу низкій, грудной голос:

— Сладко поцѣловала? Мечтаете? — кто-то спрашивает меня русским, неторопливым языком и слово поцѣловала произносит помосковски: поцаловала.

Оборачиваюсь: сзади меня стоит незнакомка из Мажестика. Она уже не в шляпкѣ, а в черной кружевной косынкѣ, которую я с дѣтства помню у матери, которыя часто видал в Испаніи, в Севильѣ. Я невольно любуюсь лицом, которое в шляпѣ послѣдняго фасона что-то теряло от своей женской силы, — может быть, было подчеркнуто отсутствіе кос. В косынкѣ это скрыто и создается иллюзія прежняго образа красоты: красоты моей матери и первых женщин, которых я любил лѣт двадцать тому назад.

— Развѣ вы — русская? — удивленно спрашиваю я, вспоминая ея безукоризненный французскій язык.

— Русская. Потому и сбѣжала от вас, когда вы к швейцару адресовывались. Стыдно было своего. Теперь, вот на честный путь собралась.

— А Васенька развѣ не русскій? С ним — не стыдно?

— Ну, что же Васенька? Васенька — убогенькій! А к вам я имѣю большую просьбу. В Парижѣ у нас могут столкнуться общіе знакомые. Я — из хорошей семьи. Ну, мало ли, на что человѣк из нужды должен бывает пойти? Не выдавайте моего секрета. Не говорите, в какой обстановкѣ меня видѣли.

— Ну, что вы? Бог с вами!

— Артисткой вот задѣлаться хочу. Буду с вами разъѣзжать, какой-то шарманочный номер директор обѣщался со мной поставить.

— Вы любите Васеньку?

— А как же его не любить? Бѣдненькій, крохотный. Душа хорошая.

Я знаю этот номер, который директор давно хочет внести в репертуар. На сцену выходит шарманщик в широкой итальянской шляпѣ — очевидно, это будет Васенька. У другого актера — на спинѣ барабан и тарелки. С ними — оборванная дѣвка, пѣвица и собирательница подаяній. Васенька крутит шарманку, барабан и тарелки гремят и иногда, нарочно, не в такт, а дѣвица, унылая и безразличная ко всему на свѣтѣ, поет:

Мама, мама, что мы будем дѣлать,
Когда наступят зимни холода?
У тебя нѣт теплаго платочка,
У меня нѣт зимняго пальта.

Этот номер всегда соблазнял мою жену, бывшую актрису из Невскаго фарса. И тут, за все время, я в первый раз вспомнил, что у меня есть жена и что часа через два мнѣ придется увидѣть ее, говорить с ней и лечь около нея на лѣвой сторонѣ кровати, — и Антверпен показался мнѣ стоящим отсюда за многія тысячи верст.

XIII.

Юдифь.

У всѣх народов, под всѣми широтами, причины женскаго «паденія» бывают всегда одинаковы: нужда, пьяное дѣло, горностаевая накидка, гарун-аль-рашидовскія окна улицы Мира, ху-

дожственное бѣлье. Бѣлье, в особенности, играет большую роль по закону совершенно особеннаго, исключительно женскаго ощущенія: как бы плохо ни была женщина одѣта, но, если на ней хорошее бѣлье, она чувствует себя нарядной.

В коридорѣ вагона кто-то притушил лампы, и воздух был без той надышанности, какая обыкновенно бывает в купэ. В головѣ моей собесѣдницы еще не перебродило теплое шампанское (винная теплота таит усиленную крѣпость), она то и дѣло вынимала из полуопустѣвшаго пакета камель и курила по-мужски, без мундштука, мизинцем сбрасывая пепел.

— Вот, европейцы, сказала она насмѣшливо, — никому и никогда не было до меня дѣла. Взял свое — и до свиданія. Русскій — подай ему причины. Вы умрете со смѣха, когда узнаете, что мои причины были политическія. Это под луной не каждый день бывает, — правда?

— Да тут чудасія, мосьпане, сказал я, стараясь подладиться под тон насмѣшливости.

— Да, чудасія, отвѣтила она, — а все что? — Молодость и запалючесть, как говаривала в Россіи моя нянька. Характер у меня запалючій. Во всяком случаѣ, из всѣх эмигрантских исторій моя навѣрное получила бы первую премію. И во всем этом виноваты, вѣроятно, нѣсколько капелек итальянской крови, закатившихся в наш род со времен далеких, чуть ли не от самого Фіоравенти. Если женщина захочет, так так поставит самовар. Но они во мнѣ, эти итальянскіе горячіе чертики, — их, может быть, нѣсколько штук, но баламутят они все остальное теплое и вялое ведро русской крови. Что ж, разсказать что ли? Женщина любит испо-

вѣдываться и, если некому разсказать, в дневникѣ напишет или в письмѣ. Тайна — ей чужда органически. Но только вам разсказать можно...

— Почему только мнѣ? — спросил я.

— Сами с ума сходили, два дня, как сумасшедшій, по фаустовым адресам меня разыскивали. Этот самый секс-аппил или, как говорят порусски, поди сюда, — во мнѣ всегда был силен, а в тѣ времена, двѣнадцать лѣт тому назад, когда губы огнем налиты были, когда бровью могла повести по соколиному, — то ли еще было... Теперь Изабелла ослабѣла: я о себѣ — как о покойницѣ. Жаль, война кончилась, а то, вѣдь, такія, как я, цѣлых корпусов стоят. Вы не смѣетесь? Я не похожа на гречневую кашу?

— Меня ударили ваши глаза,— признался я.

— Вы их только видѣли, — сказала женщина, — но вы их не слышали. А в тѣ времена, моргая, рѣсницы у меня шуршали шелковым, чуть замѣтным оттѣнком. Это тоже не каждый день бывает... Как о покойницѣ, о себѣ говорю...

— Ну, ну, — поощрил я.

— Ну, вот, такая дѣвочка в восемнадцать лѣт осталась одна одинешенька на этом милом свѣтѣ. Вездѣ большевички, братья поубиты, мама умерла, без гроба, в старых простынях в яму закопали. Плыву от крымских берегов на «Ріонѣ». Голова глупая, но итальянскіе чертики, позор изгнанія ощущают. В руках — маленькій чемоданчик, в чемоданчикѣ — русская наивная губная помада с сальцем, пудра Лебяжій пух, крем Снѣжинка. Сердце — в сто ударов. На три мѣсяца из дома отправлялись, прогулка, заграницу повидать, безплатный проѣзд. Спутнички даже счастливы, — вырвались от вшивой войны, в турецких банях помоются, пи-

ва выпьют: соскучились по пиву. Плыли дён шесть: удѣльный портвейн, «Сильва, ты меня не любишь» на мандолинѣ, — и, вдруг, как в сказкѣ, на зарѣ — город новый златоглавый, пристань с крѣпкою заставой. С пріѣздом вас! Трамваи по берегу бѣгают. Обрадовались трамваю, как родному брату. Потом — пересадка на шаркет, Гайдар-Паша, малоазіатскій берег, через три станціи — лагерь, гости англійскаго короля, барак номер 8, желтый сахар, полложечки варенья, корн биф, двадцать капель сгущеннаго молока на брата. На дворѣ — ноябрь, но солнце — каждый день и в силѣ, дорога звонкая, пьем кофе на берегу моря, юз-пара чашечка. Съѣздила в Константинополь, загнала грекам брилліантовыя сережки, пообѣдала у Токатліана, отхватила себѣ красную шелковую кофточку в обхват, вродѣ теперешних джэмперов, коробку риммеля, флакон лоригана, лак для ногтей, столбик помады в золотом футлярчикѣ, — руки загорѣлись от всего этого добра. У женщины, вѣдь, четыре глаза: два на лбу, два — на затылкѣ. И передними и задними видишь, как мужчины столбенѣют. Гордость, радость, счастлвыя предчувствія, жизнь начинается завтра. Счастье дошло до высшаго предѣла, когда сама выбрала, примѣрила на руку, попробовала наощупь, потянула шелковые чулки тѣлеснаго цвѣта, — новый мір, откровеніе: о тѣлесном цвѣтѣ в Россіи слыхом не слыхали, переворот, дерзость, мечта поэта. Вернулась в лагерь, забралась в куточек, подмазалась, нарисовала губки, — все это скромненько, со знаніем мѣры, надѣла кофточку, грудь обтянулась, пошла в церковь. Англичане, не пропускавшіе русских служб, вдѣли монокли, переглянулись, и как-то

подтаяли их бритыя, актерскія лица. И, вот, недѣля, другая, по лагерю — клич. Какой-то из их офицериков уѣзжает в Лондон. По русскому обычаю, наши ему закатывают прощальный обѣд. Сложились, съѣздили в Галату, купили хіосскаго вина, спирту, настояли его с лимоном, надѣлали из корнбифа рубленых котлет, крем из порошков, зажгли в палаткѣ полсотни свѣчей: пир горой. В числѣ приглашенных дам и я, собственной персоной. Офицерик молод, собой — недурен, в плѣну изучил русскій язык, — одним словом круглая пятерка. Обѣд. Вечер. Подкатили откуда-то чудом уцѣлѣвшій удѣльный портвейн и даже бутылку абрау-дюрсо в нѣмецкой каскѣ вмѣсто ведра. Выпили, закусили. Наши жарят поанглійски. Англичане, из уваженія к своему языку, начинают по-англійски и только потом переходят на русскій. Спирт дрянной, пахнет сивухой, но и наши, и англосаксы выпить не дураки. И, вот, отъѣзжающій встает, ставит ногу на стул, локтем оперся в колѣно: хорошая солдатская поза. Начинает о плѣнѣ, о русских, о языкѣ. И вдруг выпаливает:

— И, вот, джэнтльмены, в этом лагерѣ мнѣ пришлось узнать русских женщин. И что же? Солдат — на то и солдат, чтобы говорить правду. За русских женщин поднять бокал могу, а за вас — нѣт.

Этого сразу понять нельзя было. Прошло секунд сорок, пока поняли, пока вошло в голову Подняла глаза, посмотрѣла на наших. Как в пѣснѣ, пригорюнились наши шаповалы, коновалы, полковнички, генералы. Сжали зубы, пот ведром со лбов льет, смотрят в землю, сопят.

Ну, думаю, завтра — дуэли. Всю ночь не спала: итальянскіе черти гонят русскій сон. В

горлѣ что-то клокочет, как дифтеритная пленка, щеки горят и не могу понять что: обида, ярость, физическая боль? Яду в зубах хочется. Потом поняла: обида самки за обезсилѣвших самцов. Это — одно из самых скрытных чувств женщины, — кто бы она ни была: волчица, тигрица, змѣя — все равно. Никак не думала, что в такую силу кулаки сжимать могу. На утро встала, прислушалась к разговорам, — о дуэлях ни звука. Говорят о приваркѣ, о том, что луку маловато, что на той недѣлѣ добавочныя одѣяла обѣщали дать. Сами собой руки взялись за риммель, устроила рѣсницы в два сантиметра, натянула кофточку, лифчик к чорту, — и к отъѣзжающему офицерику:

— Так и так, срочно нужно в Константинополь, а поѣзд только вечером. Не подвезете-ли?

Офицерик — пожалуйста, очень рад, побѣдоносно переглядывается с товарищами, на автомобилѣ сам полковник мнѣ — плэд на ноги, крикнули гип-гип-ура, — и айда из лагеря, прощевай Россія — матушка, благослови дочку! Дороги дрянныя, автомобиль раскачивает и, как только на толчкѣ коснешься офицерскаго плеча, так сам офицер краской так и обольется и жилка на вискѣ вспухнет. Скромница, в Лондонѣ невѣста, папа, мама ждут. Пріѣхали в Перу, потащила я офицерика обѣдать в московскій кружок, благодарю его за автомобиль. Ковры, лампы в абажурах, концертная программа, цыгане, — а как запѣла Нюра Масальская «Калитку», аккомпанировал сам Саша Макаров, нервный, трясется от восторга, глаза впились в струны. «В темный садик скользни ты, как тѣнь, не забудь потемнѣе накидку, кружева на головку надѣнь». Часам к двум ночи стаяло у моего офи-

церика все англійское, остался мальчик двадцатипятилѣтній, глупенькій, ручной, вей из него веревки и закидывай в море. Какой там Лондон, какіе папаши и мамаши? На третій день карточку невѣсты на свѣчѣ сжег и пепел в клозетную чашку выбросил: сам придумал. А потом на Таксимѣ я остановила какого-то лядащаго русскаго солдатишку, и мой герой вслух прощенья у него просил. Солдатишка глаза вылупил, ничего не понял и сам, ни с того, ни с сего извинился. Смѣхи были! Тяжко мнѣ сказать, до чего я его довела, — Бог с ним, может быть царство небесное. Теперь бы этого и не сдѣлала-б, а тогда дѣвченка была запалючая, фіоравенти. Ну, вот, и сказкѣ конец. Я там был, мед-вино пил, по усам текло, а в рот не попало.

При словах: «в рот не попало» женщина как-то намекающе посмотрѣла на меня, разсмѣялась и спросила:

— Сладки наши русскіе меды да вина, а? Это не то, что бельгійскіе. А? Ну, нѣт, нѣт. Я ничего не сказала. Приструни эту дѣвочку, свей из нея веревочку. Ох, и весело же это: свить из человѣка веревочку и, вот так, вокруг ручки замотать!

Над французскими полями, долинами, лѣсами, домиками и рѣками стоял осенній туман: в воздухѣ плыла ткань мягкая, расплывчатая, угрюмая и, как-то отдаленно — грустная. Окутывая станціонные фонари, туман всегда, почему то, боится прильнуть к лицу стекла. Фонарь свѣтит и свѣт его, всегда треугольничками, вьет нѣжныя радужныя нити. Тогда хочется подтолкнуть ход поѣзда, поскорѣе добраться до уюта, до яркой лампы над столом, до тишины, до вѣрной собаки с теплой шеей.

Отодвинулась дверь и в коридор выполз заспанный и ревнивый Васенька. Сорокалѣтняя голова, причесанная по модному, нафиксатуаренная, с ложбинкой на располнѣвших щеках, странно сидѣла на дѣтском туловищѣ, вылѣзая из игрушечнаго, но тщательно сшитаго костюмчика, с складками на брючках, с платочком в боковом карманѣ.

Из пакета на серебряной подкладкѣ он достал камельку, с гвардейским шиком, постучал ею о зажигалку, пытливо взглянул на меня и, грозясь папиросой, сказал, обращаясь к женщинѣ:

— Ты, Марія, его бойся. Это — талант.

В глазах Васеньки прыгали явно ироническія искры. Потом, обращаясь ко мнѣ, в том же тонѣ добавил:

— Цѣны себѣ не знаешь. При твоем талантѣ я бы ходил и всѣм морды бил. Хе-хе? А это что там написано?

Освѣщенная сверху большим треугольником, надпись на стѣнѣ гласила, что до Парижа осталось три километра.

XIV.

Жена.

Квартира — законная жена, гостиница — любовница. В гостиницѣ я чувствую себя веселым воробьем, в квартирѣ — мокрохвостой вороной... Когда я живу в гостиницѣ, — мнѣ принадлежит весь мір; когда живу в квартирѣ, мнѣ принадлежит зеленый плюшевый диван, стол, пепельница и гравюры, купленныя на блошином рынкѣ (версальскія празднества с декораціями

вокруг первых бассейнов). В гостиницѣ у меня ощущенія студента, в квартирѣ я — дѣйствительный статскій совѣтник. В гостиницѣ я могу работать, в квартирѣ занимаюсь критическими размышленіями. В квартирѣ у меня заболѣвает печень и я пью декокт из больдо. В отелѣ со мной весело живут мои добрые друзья: мсье Аппетит и господин Сон.

Войдя на перрон Сѣвернаго вокзала, я вспомнил, что мнѣ надо тащится в Сен-Клу, гдѣ у меня квартира (в видѣ студіи) и жена (в видѣ хорошенькой блондинки). Ѣхать в Сен-Клу за семь верст киселя хлебать. На это сразу рѣшиться нельзя, и я захожу в кафэ, чтобы посидѣть на террасѣ и отвѣдать парижскаго воздуха. Уже вечер в разгарѣ, уже постарѣли четвертыя изданія вечерних газет.

Мнѣ подают дижестив, горькій, как хина. Матовые фонари освѣщают террасу, как сцену. На тротуарах шуршат осенніе листья... Скоро зажгут уличныя мангалки. Под свѣтом верхних фонарей мужчины старѣют лѣт на десять, женщины спасаются от этого впечатлѣнія усиленным, почти театральным гримом. Сижу, смотрю на этих актрис поневолѣ и думаю, что в театрѣ все загримировано: и лицо, и бутафорія, и декорація, и костюмы. Чтоб имѣть в театрѣ успѣх, нужно гримировать и литературу.

Послѣ горькаго дижестива начинаю снова ощущать себя крестьянином Парижской губерніи, Медонскаго уѣзда, Сен Жерменской волости, сельца Сен-Клу. Крестьянин уѣзжал из дому на отхожіе промысла. Крестьянин должен возвратиться с деньгою, ибо за студію не плачено, в мясную — не плачено, в булочную — не плачено. Тут крестьянина начинает брать

оторопь. Только теперь он раскрывает свой бумажник и видит всего двѣ сотенки. Куда же подѣвались остальныя двацать восемь? Только теперь он понимает всю космичность катастрофы.

Вот войдет он в студію. В студіи — причудливый, скандинавскій потолок. Навстрѣчу ему поднимается крашеная блондинка, с испанской шалью на плечах, и начнутся вѣжливости любви: радости давно кончились. На эмалированной сковородкѣ ему подадут глазунью из четырех яиц, традиціонное кушанье всѣх запоздавших путников. Рядом с тарелкой ему положат письма, полученныя за время отъѣзда, и русскія неразвернутыя газеты, которых блондинка принципіально не читает. Начнутся вѣжливые разспросы насчет успѣхов и в глазах доминирующее и совсѣм отдѣльное положеніе займет яркая точка, значеніе которой в одном затаенном словѣ: сколько? Письма не интересныя: от учеников и при-редюи на концерты в Гаво. Всѣ разговоры с наигранным оживленіем — только пассажи, болѣе или менѣе, искусные, перед самым главным вопросом. Глазная точка горит яркими огнями, переливается, дрожит, как звѣзда, трепещет и, наконец, уныло и злобно потухает. Это случается в тот момент, когда крестьянин говорит, что матеріальныя дѣла были такія, что всѣ кричали: «алла!»

— Но, все-таки, сколько же? — спрашивает блондинка.

Он молча подает бумажник. Она вынимает желтенькія квитанціи на заказныя письма, брутовскій рубль, расписаніе поѣздов, иконку Николая Чудотворца и, наконец, двѣ помятыя, потерявшія шелковистость бумажки.

— И это все?

Тогда, чтобы сразу раздразнить ее, он отвѣтит: —

— Да, но за это время мнѣ удалось окончить свою симфонію.

От радости она всплеснет руками и восторженно скажет:

— О, благодарю вас, великіе боги! Ему удалось закончить свою симфонію! Нынѣ отпущаеши! Теперь, наконец, есть все, что необходимо для счастья человѣчества! Теперь все обстоит благополучно!

— Теперь все обстоит благополучно! — повторил он ея слова, как эхо.

— Завтра же, завтра же, — продолжит она восторженно: — я устрою суарэ, созову домовладѣльца, мясника и булочника, ты им сыграешь андантэ, они прослезятся, отпустят нам всѣ долги наши и начнут новую жизнь. Мало того, они поднесут нам золото, ладан и смирну.

— Какую смирну? — спросит он: — Смирна — город. Ты, может быть, говоришь о миррѣ?

Она отвѣтит:

— Прости мою ошибку. Конечно, я говорю о миррѣ.

...В эту минуту моих размышленій, Париж дает себя знать. Париж переполнен актерами. Актеры — в торговлѣ, в политикѣ, в газетном дѣлѣ, в рекламѣ, в религіях, в литературѣ, в судѣ, в любви. К моему столику приближается актриса любви, давно, вѣроятно, за мной наблюдавшая.

— Ты печален, мой дорогой?

— Да.

— Пойдем ко мнѣ. Я тебя развеселю.

— Я болен.
— Чѣм? Карманной чахоткой?
— Да.

Представленіе не состоялось.

— Впрочем, я так и думала, — отвѣтила актриса, равнодушно возвращаясь к своему портвейну и на ходу добавила: — стоит посмотрѣть на твою шляпу.

Актриса не знает, сколько моей шляпѣ пришлось вытерпѣть под антверпенскими дождями. Ея замѣчаніе меня, все таки, смутило. Хочешь не хочешь, а надо трогаться в путь, домой.

С наступленіем холодов внутренности парижских извощичьих автомобилей начинают пахнут пылью и мокрой собачьей шерстью. Изворачиваясь среди уличной суеты, под грозными скипетрами городовых, попадаю, почему-то, к ратушѣ, догадываюсь, что шоффер начал дѣлать свои коммерческія петли и молчу: не вѣдает, что творит. На Шателэ вижу два театра, похожих на близнецов. Вспоминаю довоенные русскіе сезоны, протекавшіе здѣсь, дававшіе особый блеск парижской веснѣ, и думаю о том, сколько вообще иностранной воды льется на мельницу французской славы.

Шоффер привозит меня в Трокадеро, на трамвайную остановку, в царство голубоватаго скромнаго газа. Пахнет провинціей и морской травой. Пустынно. Вижу двух городовых, прячущихся от вѣтра за цоколь моста. Разсматриваю звѣзды и в тысячный раз убѣждаюсь, как онѣ, по слову Писанія, разнствуют во славѣ. Начинаю зябнуть. Кожа неизвѣстнаго звѣря, из которой выкроен мой чемодан, тоже зябнет. Наконец, подбѣгает свѣтлый, многооконный домик

на колесах и, завыв до тончайшей ноты, несет меня по желтѣющей аллеѣ.

В Сен-Клу темно и холоднѣе, чѣм в Парижѣ. Тащусь по каменным лѣстницам, и это напоминает мнѣ какія-то итальянскія мѣста. Американским ключем, похожим на маленькую пилку, поворачиваю упругій язык и вхожу под свои скандинавскіе извилистые потолки. Зажигаю люстру до предѣлов высоко торжественнаго церковнаго свѣта. Первое, что бросается мнѣ в глаза: на столѣ, покрытом испанской шалью, чинно, как толстопузые солдаты, в золотых касках, стоят пять бутылок шампанскаго. Второе, — на пюпитрѣ рояля ноты письма из «Периколы» и красным карандашем подчеркнуты слова: «mais vrais, la misère est trop dure et nous avons trop de malheur». Третье — большая, склеенная по пунктиру секретка.

В присутствіи пяти бутылок шампанскаго никакая грусть не смѣет коснуться человѣческаго сердца, и я без страха отдираю от секретки перекладинку пунктира. Знакомый угловатый почерк, похожій на почерк Льва Толстого, но с женской недоведенностью букв, гласит без обращенія:

«За каждый год прожитой жизни дарю тебѣ по бутылкѣ вина. Письмо Периколы все тебѣ объяснит. Учись писать аккомпанимент у Оффенбаха: какая простота и какая ясность. Студія оплачена за год вперед. Чао!»

Стало жаль, что у меня в эту минуту не было под рукой никого, с кѣм бы я мог подержать пари. Дѣло в том, что моя жена всю жизнь подрожала героиням тѣх пьес, сыграть которыя она мечтала. И в эту минуту я готов был поставить о заклад все свое имущество, что она, по-

добно гамсуновской героинѣ, перечинила перед уходом все мое бѣлье. И, дѣйствительно, в шкафу я нашел свой гардероб в идеальном состояніи.

Как пишут в романах, горячая волна радости омыла его сердце. Я еще раз, и теперь уже набѣло, пересмотрѣл свой бумажник: двѣсти франков на всю жизнь с гробом включительно. Антверпен кончился, и завтра же в Париж, в озеро своего стараго квартала! Как будет благодарен хозяин студіи: он получает в подарок плату за цѣлый год!

Однако, что же дѣлать с вином?

Я пошел в ванную и начал кипятит воду. Воздух, нагрѣваясь, стал излучать таившіеся в нем запахи душистой соли и пудры, постепенно их усиливая. Вызвав консьержку и, отвинтив проволочныя коронки, отдал ей всѣ пять бутылок, с просьбой распить их сейчас же, за здоровье барыни! Потом с радостью человѣка, выпущеннаго из долголѣтней тюрьмы, выкупался, завалился спать и слышал звон колоколов, не то московских, не то угличских.

И, раза три за ночь, в этот торжественный и многонотный звон вмѣшивался человѣческій бас, наставительно говорившій:

— Теперь вся жизнь принадлежит тебѣ. У тебя все есть, кромѣ ежа и перочиннаго ножа.

XV.

День Мертвых.

«Его сердце замирало от сладких предчувствій»...

Мнѣ хочется вступиться за шаблоны. Очень

часто шаблоны стали ими только потому, что в первооснове своей заключали зерна геніальности. Один инженер утверждал, что Наполеон проиграл Ватерлоо по причинѣ излишней талантливости: под Ватерлоо нужно было пользоваться простым, много раз провѣренными и испытанными шаблонами. Вспоминаю также и еврея, который говорил, что создать «Горе от ума» вовсе не так трудно: надо взять пословицы и соединить их в одно цѣлое.

Проснувшись по утру в студіи, неизвѣстным благодѣтелем оплаченной за год вперед, вторым моим ощущеніем, послѣ сладких предчувствій было поскорѣе выбраться из уютно-нагрѣтых, шелковисто-скользящих, до блеска проглаженных простынь, — и в Париж! «Ах, Париж, край родной, край родимый, дорогой!...» Слегка кружилась голова; вѣроятно, от слишком горячаго радіатора. Через зеркальное, большое, похожее на экран стекло посмотрѣл на Париж: в голубом утреннем туманѣ, как в кадильном дыму, лежит огромное количество камня, принесенное французами и в видѣ комнат и зал склеенное известкой и цементом. Когда разсѣется туман, я различу купола Пантеона, Института и вышку Ліонскаго вокзала. Количество камня кажется отсюда сплошным, без раздѣленія улиц, без квадратиков и кружков, площадей. Видна зеркальная канава Сены, пропаающая у заводов Рено. Среди этого камня расположено четыре милліона кроватей. Пріятно знать и думать, что какая-то кровать ждет сегодня и меня.

Если бы блондинка, которая была моей женой, знала, какое счастье и какое освобожденіе она мнѣ уготовила! Я готов пѣть молебны тому человѣку, который мог увлечься ея уже отви-

сающей грудью, глазами, загорающимися только послѣ вспрыскиванія атропина, ея венеціанскими волосами, упорно около пробора чернѣющими: я всегда чихал от нашатыря, которым она мыла голову перед тѣм, как приступить к перекиси водорода. В моем счастьѣ ослѣпительно ясно представляется, что мір вовсе не наполнен скучными и злыми людьми. Напротив, все идет хорошо и будь благословенна та бульварная, дешевая и хорошо торгующая кофейня, которая укрѣпила эти три слова на своей вывѣскѣ и на своих пивных кружках.

— Правда, — бесѣдовал я сам с собою. — тебѣ перевалило за сорок. Началось нисхожденіе с горы и времена мчатся быстро. Двѣ трети бытія уже сожжены и пепел вылетѣл в трубу. Сердце, твой мотор, работает еще исправно, хотя таможня, печень, уже частенько пропускает в кровь контрабанду ядов и тогда ты склонен испытывать приступы безпричинаго бѣшенства. Ты уже вѣришь в Бога, а Бог открывается человѣку только в закатѣ жизни. В каких-то необъяснимых и тайных, но несомнѣнно мудрых цѣлях Он очень часто скрывает Себя от юности: может быть нужно, чтобы юность ходила по ложным дорогам, высокомѣрничала, заблуждалась и показывала кулаки далекому Небу?

Смотрю на Париж, на проволоку Эйфелевой башни и вспоминаю, как перед войной, в Палермо, я был представлен старому одинокому астроному, ушедшему от міра в затвор королевской обсерваторіи. Я почтительнѣйше испросил у него разрѣшенія посмотрѣть в главный телескоп на звѣзды. Астроном согласился и назначил мнѣ свиданіе между первым и вторым ча-

сом ночи, когда карта неба будет выпуклой и ясной. Прощаясь, он спросил:

— Вы, конечно, вѣрите в Бога?

— О, нѣт! — весело отвѣтил я, — это дѣло я оставил попам.

Старик усмѣхнулся и отвѣтил:

— Вы это оставили не только попам, друг мой. Вы это оставили еще морякам и астрономам. Вам сколько лѣт?

— Двадцать семь.

Астроном, в котором было что-то опереточное, потер бритое лицо, и я почувствовал, как через увеличительныя стекла своих очков он прощупал взглядом мой лоб, надбровныя выпуклости, полушарія глаз, строеніе рта, ямочку на подбородкѣ, линію, от которой поднимается на щеку румянец, — и сказал:

— Лѣт через пятнадцать поспѣете. А сейчас вы ничего не увидите ни в какой телескоп. Только время пропадет. А в Палермо есть хорошіе кабачки, хорошее вино и, право, совсѣм не плохія дѣвицы.

Пятнадцать лѣт прошло, я теперь понимаю и моряков, и астрономов, а когда бываю в церкви, то среди малопонятных слов, в родѣ аще, абіе, иже, — в слух мой чрезвычайно ясно и внятно входят слова о христіанской кончинѣ, мирной, не постыдной и безболѣзненной. Я очень полюбил послѣдніе пушкинскіе стихи к женѣ, а порой ясно слышу, как чьи-то жуткіе, концентрическіе круги дѣлаются все меньшими и, порою, блистает на мгновеніе перед глазами огромная бритва, похожая на косу, и тогда чувствуется холод бѣлаго, нешелестящаго одѣянія. Часто, с потемнѣвшими лицами, приходят ко мнѣ во снах отец или мать, грустно смотрят, и

тогда я знаю, что им нужно. Я ставлю за них свѣчи перед кануном, в песок, и в слѣдующих снах лица их свѣтлѣют и благодарно улыбаются. Оттого, может быть, я так люблю Рим и его древности, около которых странным чудом удлиняется на многія столѣтія твоя собственная жизнь; люблю райскіе полукруги Беато и ту арку на старом флорентійском мосту, около которой прибита мраморная дощечка со словами Данте: «in sul passo d'Arno».

Стук в дверь. Входит консьержка и, поздоровавшись, говорит:

— Через вас, сударь, мы впали в большую бѣду.

— В чем дѣло, мадам?

— Вы вчера подарили нам пять бутылок шампанскаго, отвинтив от пробок проволоку.

— Да, чтобы вы его сейчас же распили.

— Так оно и случилось. Пробки начали вылетать еще на лѣстницѣ.

— И вы облили ковер вином, сударыня?

— Ковер, облитый шампанским, не теряет своей цѣнности. Случилось худшее: мы, т. е. я, мой муж и племянник, принуждены были распить вино немедленно.

— За здоровье моей бывшей супруги...

— И за ваше, сударь, увѣряю вас. Но я выпила стакан или два, а на долю мужчин пришлось все остальное.

— Они не посрамили французских виноградных лоз?

— Так-то оно так, но сейчас лежат с полотенцами на головах и пьют сидр. А сегодня — первое ноября, День Мертвых, сударь, и я должна итти одна к моему бѣдному мальчику.

— Чтобы искупить свою вину, я готов сопровождать вас, мадам.

— Повѣрьте, я за тѣм именно сюда и шла, чтобы вы меня проводили. Нехорошо быть одной в этот час. Тѣм болѣе, что я всегда с такой радостью служила вам.

Через полчаса мы с ней вышли из дому. Консьержка была в черном, в перчатках, и походила на русскую чиновницу. В рукѣ у нея был маленькій букетик гвоздик. Мы шли к церкви, против главнаго входа которой возвышался бюст Гуно. Около церковной стѣны стояла нѣмецкая пушка и каменная доска, на которой были высѣчены имена павших за отечество. Старуха опустилась на колѣни перед столбцом, над которым стояла цифра 1915. Потом показала мнѣ пальцем на выбитую золотом строку.

— Вот это — мой сын, — сказала она.

— А гдѣ же его могила?

— Не знаю, — отвѣтила она, — это все, что осталось.

Потом она взяла платочек и потерла чеканку букв.

Я предложил ей откушать со мной кофе. Пошли к папа Бильбо и помѣстились за стеклянной матовой перегородкой. Консьержка сказала, вздохнув:

— Эх, сударь. Я все понимаю. Я понимаю вас, ваше вино и то, что вам надо быть сейчас с людьми. Все — пустяки и молодость. Конечно, у старика автомобиль в полкилометра длиной, а развѣ вы могли бы дать ей автомобиль, хотя бы в два сантиметра? А любит она вас и только вас. Уже садясь в автомобиль, она сказала мнѣ, протягивая пустой аптечный пузырек:

«закажите ему зубное полосканіе». Увѣряю вас, сударь, это — любовь, — и на глазах ея были слезы. Я их ясно видѣла.

— А не приходило ли вам в голову, мадам, — отвѣтил я консьержкѣ, — что ваш сын может быть погребен в могилѣ неизвѣстнаго солдата?

— Ой, Боже мой, что вы говорите?

— В самом же дѣлѣ, настаивал я, — почему, собственно, неизвѣстный солдат не может быть вашим сыном?

— Ой, Боже мой, что вы говорите? Мнѣ никогда не приходило в голову...

Руки ея тряслись и теребили на груди кружевную косыночку, к которой был пришпилен медальон с фотографіей солдата, причесаннаго на боковой пробор.

— Мы должны сейчас же расплатиться... вот именно, расплатиться... — говорила она посинѣвшими губами, криво опускающимися одна на другую, — мы должны ѣхать на Этуаль. Я везу вас по первому классу. Пожалуйста, не оставляйте меня, вас Бог вознаградит и в этой жизни и в будущей...

Глаза ея потеряли слѣды ровной человѣческой мысли: в них царило величайшее возбужденіе и тревога. Она готова была куда-то бѣжать, кого-то просить, чего-то требовать, кричать... По дорогѣ вскочила в цвѣточный магазинчик и, не поздоровавшись с торговкой, со своей старой, видимо, знакомой, схватила стоявшій на окнѣ пук роз и, не дав их ни связать, ни завернуть в бумагу, пальцами в непривычных перчатках, еле сумѣла вытянуть из вязанаго кошелька нужную бумажку и не посчитала сдачу. И старушечьими, шаркающими шажками,

с торжественным будетом в руках, бѣжала впереди меня и пыталась остановить каждый проѣзжающій автомобиль. Поспѣвая за ней, я думал: вѣроятно, в таком возбужденіи бѣжали ко гробу жены-мироносицы, когда услышали о воскресеніи и об отваленном камнѣ...

Наконец, мы влѣзли в какую-то наемную карету и тревога женщины странно передалась шофферу: он дал предѣльную скорость, ловко огибал препоны пути и мы быстро примчались к тріумфальной Аркѣ.

Тишина, простота и величіе могилы всегда теперь отражаются и на этом великолѣпном, полукруглом взлетѣ камня и на сверкающей площади с воротами улиц. Пылало у изголовья плиты пламя, согрѣвая вокруг умирающіе и зябнущіе цвѣты. Молодой птицей выскочила из автомобиля старуха и с внутренней, хищной жадностью подбѣжала к раскачивающемуся огню. Словно защищая их от кого-то, она прижимала к сердцу свои розы, — и в теченіе двух минут у нея была поза человѣка, готоваго принять важное и торжественное рѣшеніе. И вдруг она потихоньку выпрямилась, повернулась, взглянула на меня ледяными глазами и сказала:

— Нѣт, это — не мой сын. Напрасно мы спѣшили и тратили деньги.

И пошла от могилы прочь.

— Мы могли бы, все таки, оставить ему цвѣты? — сказал я.

— Зачѣм? — отвѣтила она, — это дѣло правительства и пріѣзжающих султанов. У меня есть кому дарить цвѣты в этот день.

Мы обогнули площадь и долго поджидали автобус у зеленаго диска, на факультативной остановкѣ.

XVI.

К звѣрям.

Я всегда подозрительно относился к народу, создавшему пословицу: «Моя хата с краю, ничего не знаю». Во время войны эта пословица транспонировалась в формулу: «Мы — тамбовскіе, до нас не дойдет». Но всегда и совершенно ошеломляюще меня поражало народное изреченіе: «Собакѣ — собачья смерть», т. е.; злому, жестокому существу — злая, жестокая смерть. Меня поражало, до какой степени у человѣка может простираться непониманіе того, что вѣками его окружает, что ему служит, и что его любит.

Собака — единственное существо, которое любит человѣка. Лошадь его терпит, снисходит к нему, — не больше. Кот чувствует свое умственное превосходство и откровенно презирает все его окружающее. Вѣчный разлад собаки и кота, несомнѣнно, происходит из-за человѣка. На эту тему у них ведется вѣчный и непримиримый спор.

Собака! Что же можно назвать добрым, преданным, вѣрным, если собака — зла и жестока? Как русскій народ мог просмотрѣть, не замѣтить, не оцѣнить так ярко выраженной любви, дружбы, благородства, которыя есть в каждой собакѣ? Меня всегда оскорбляет, когда человѣка называют собакой: это — оскорбленіе собаки. И смерть собачья никогда не бывает ни злой, ни жестокой. Собака кончается тихо и безгрѣшно, как свѣча. Она задолго чувствует свою смерть и, деликатнѣйшее существо, она даже и здѣсь своим трупом не хочет причинить хлопот

своему хозяину: если может и если хватает сил, она всегда уйдет перед смертью подальше от дома, куда глаза глядят, и кончается там, гдѣ ее трудно найти. Одну такую, далекую от дома смерть я видѣл на изумрудной лужайкѣ Люксембургскаго сада. Кончался фоксик, был в безпамятствѣ и агонія длилась долго. Вокруг него почтительно собралась внимательная, молчаливая толпа. Судорожно вытянулись сначала заднія лапки, потом, с послѣдним вздохом, переднія, изящныя, милыя, ровныя. И сторож, в фуражкѣ с красными кантами, только тогда прикоснулся к трупу, когда он уже совершенно остыл, и понес его в фартукѣ бережно, охраняя первыя минуты смертнаго покоя. И почувствовалось, — допусти он грубое, неделикатное движеніе, — заворчала бы толпа.

В началѣ странных большевицких времен я видѣл такую сцену. В небольшом и смирном губернском городѣ, днем, по улицѣ шла маленькая гимназистка, приготовишка-мартышка. Навстрѣчу ей двигалось пять-шесть солдат из тридцать девятой дивизіи, только что дезертировавшей с кавказскаго фронта и по дорогѣ громившей всѣ казенные водочные заводы. Поровнявшись с дѣвочкой, один из них, вихрастый, с козырьком на ухѣ, изумленно сказал:

— Ах ты, гнида! В калошах!

И как-то так ловко устроил ей подножку, что дѣвочка упала ничком в талый снѣг.

Тогда солдат изобразил пѣтуха, который ходит вокруг курицы и шаркает шпорой. Затѣм, продѣлав полный круг, он старательно обмочил дѣвочку, стараясь попасть ей за воротник.

Тут могли помочь только выстрѣлы, но и пули и оружіе, все давно было отобрано.

Придя домой, я направился в конюшню. Там среди четырех пустых стойл, находился послѣдній отцовскій конь Сѣрый, огромный орловскій рысак, котораго за старостью не взяли ни по одной из реквизицій. Когда-то на бѣговых дрожках он возил меня в степь, в полковничій яр, знаменитый лазоревыми цвѣтами. Теперь на нем раз в день ѣздили за водой и эту работу он любил и цѣнил в ней свою полезность. В конюшнѣ было темновато и только квадратик, вырубленный у крыши, пропускал треугольник свѣта, падавшій на лошадиную голову. В углу висѣл бумажный образок Фрола и Лавра, стѣны были исчерчены какими-то мѣловыми записями, больше — цифрами. Я засѣл в ясли и долго, много часов, пробыл так без движенія. Я слышал лошадиное теплое дыханіе, звук зубов о удила, видѣл большой продолговатый глаз, уже подергивающійся опаловой, старческой, полупрозрачной пленкой, вздрагиваніе кожи, взмахи хвоста. Сѣрый осторожно, деликатными рывками выбирал из под меня сѣно и ѣл его медленно, кривя рот, оскаливая пожелтѣвшіе, но всѣ цѣлые зубы, искоса посматривал и, мимоходом, раза два лизнул мою щеку прохладным, мокрым, широким языком. И я впервые почувствовал святость, безгрѣшность звѣря, его неизгнанность из рая. Есть ли у него религія? Нѣт, конечно: всякая религія спасает от грѣха; а на нем нѣт никакого грѣха, ему не в чем каяться и у него нѣт просьб. Он ѣст схимническую пищу и живет так, как велѣл Бог.

И странное дѣло: я успокоился, у меня начало образовываться впечатлѣніе, что в такую жуткую и трудную человѣческую минуту какое

то высшее существо меня пожалѣло и снисходительно приласкало.

Имя «человѣк» стало для меня синонимом путаника, котораго, по слову Іисуса, сына Сирахова, Бог создал правым, а он пустился во всякіе помыслы. За это его не любят звѣри, боятся и лица его и его непонятной, неестественной, смѣшной и некрасивой одежды. В мірѣ он ходит слѣпой и глухой, ничего вокруг себя не понимающій. И если — рѣдко — попадаются люди хорошіе и добрые, я тайно, внутри себя, зову их звѣрями.

И, вот, тепер, в этот свой, может быть, и не трудный, но непріятный человѣческій час я рѣшил ѣхать к таким, извѣстным мнѣ звѣрям.

В послѣдній раз я обошел парк. Лист почти весь пожелтѣл, осыпался, скрутился в шелестящія трубочки. Уже начиналось загниваніе и очаровательно пахло раздавленными вишневыми косточками. Валялись потерявшіе лак каштаны: на каменных плитах им суждено безплодіе. Рыба в бассейнах ушла с поверхности вглубь, к трубам, под которыми проживали почтенные и несуетливые карпы. Причудлива судьба осених цвѣтов: вот три розы на одном кустѣ. Двѣ из них задушены ночным морозом, а одну, по странной снисходительности, он оставил жить, и эта, помилованная, безпечно цвѣтет. Какая в ней женственность, как ароматно дыханіе и как атласисто блестят свившіеся в ком лепестки. Солнце ослабѣло. Из Англіи ползут темныя силы туч. На его диск можно смотрѣть, не щуря глаз и не приставляя ладони. Нѣт в нем лѣтней расплавленности, виден точный, циркульный и нелучистый круг, — и это похоже на свѣтильник, в котором масло подходит к концу. Вѣтер

наполнился холодной силой и тучи не дают тѣней.

В послѣдній раз шли по Сенѣ маленькіе пароходы. Я погрузился на номер сорок четвертый и был на палубѣ один, как хозяин яхты. Медленно уходили направо деревенскія набережныя Медона, Севра, Бельвю, были пусты террасы Мартына Рыбака, и столы стояли без скатертей. Оживленнѣе стало за окнами домов, гдѣ-то показался огонек сжигаемаго навоза и на рѣку тянуло сладким сельским запахом. Капитан парохода одѣлся в кожаное пальто с кушаком и на пристанях нас никто не ждал.

Мои звѣри живут в Латинском кварталѣ, в той его части, которую барон Гауссман, с нѣмецкой геоматричностью, разрѣзал шарлоттенбургскими линіями Св. Михаила и Іакова. В промежуткѣ между ними осталось подлинное и живое тѣло средневѣковья.

Старые, пузатые, построенные из огромнаго камня дома; восьмистекольныя рамы в окнах; узость улиц; углы, подпертые упором балок, запаянных в цемент. Огромный метеорит с Римской дороги, пріютившійся во дворѣ Юстиніана Милостиваго, кафе с двумя-тремя столиками, закоулки столярных мастерских, отели, в которых стоял Данте, прекрасный уют старой, немудреной жизни.

Вот мой любимец, Св. Северэн. Он построен из серебристаго камня, мѣстами переходящаго в черноту угля. На уровнѣ его крыши размѣстились рыкающія и пугающія дьявола химеры. Он не высок, и как соборы Руанскій или Шартрскій или Реймскій, он — не парадный дворец Бога, а его тихое жилище. Тяну к себѣ легкую дверь и со своим чемоданом вхожу. Тихо, тем-

но, оазис в житейской пустынѣ. Первое прикосновеніе ко лбу освященной воды — и сразу иною становится душевная настроенность. Каменный пол, низенькіе соломенные стулья, свѣча кажется яркой и огонь не бѣлым, как в началѣ, а красным. Колонны с правой стороны алтаря похожи на букет из той шелковой травы, какая растет только в Россіи. Видишь сгорбленную фигуру художника, его картон и слышишь шуршаніе угольнаго карандаша. Читаем мраморныя дощечки с золотыми буквами благодарности Notre Dame de l'Esperance. Благочестивые баккалавры, давно уже умершіе, благодарят за полученную степень, студенты — за успѣх на экзаменѣ, а вот трогательная женская надпись:

«Вы благословили мой брак. Благословите моих дѣтей. Год 1879».

Такую надпись могла бы сдѣлать и моя мать: это и ея год замужества. Мой чемодан кажется мнѣ грѣшным: в нем ноты, по которым люди будут пѣть о любви, об оскорбленіях, об измѣнах, о битвах, о дуэлях, о предательствѣ, о проклятіях: всѣ человѣческія страсти застыли в маленьких хвостатых точках, ползающих по лѣстницѣ из пяти ступеней. Какія бури оркестров, вопли хоров, как будет рычать духовенство (так мы называем духовые инструменты) и тяжело дышать контрабасы!

Еще шаг — и я вижу самое Мадонну-Упованіе, которая сотворила столько чудес для баккалавров, для студентов, для счастливых жен и матерей. Она потупила глаза, молода и хороша собой. На ней и на ея ребенкѣ надѣты фольговыя короны с некрасивыми и тусклыми камнями. Кругом — гвозди. На нѣкоторых из них

стоят свѣчи. Пустынно. Только у свѣчного ящика сидит старушонка в свинцовых очках.

Сажусь на стул и ставлю около себя чемодан. Гляжу на свѣчи, на фольговую, театральную корону, на малопонятные предметы, которых здѣсь множество, — и, вдруг, происходит второе чудо. Губы, сами собой, начинают шептать слова, присутствія в себѣ которых я никогда не подозрѣвал, — и странное дѣло, к Иверской я обратился бы на ты, здѣсь же само собой появилось западное вы.

— Матерь Божія, Упованіе, — говорил я потихоньку, отвернувшись так, чтобы старуха не видѣла: — вам надо поднять ваши опущенныя вѣжды и взглянуть на нас. Нам все труднѣе и труднѣе жить на чужой землѣ. Пора открыть нам ворота нашего дома. Мы уже стали забывать улицы своих городов, очертанія своих гор, воздух своих степей и, вѣроятно, пришли в упадок могилы отцов наших и их надо поправить. Мы знаем, что по заслугам несем наказаніе наше, но не гнѣвайтесь на нас до конца, сократите сроки и не входите в суд с рабами своими. Мы не смѣем обѣщать вам ни мраморных досок, ни золотых букв, но мы обѣщаем вам сердце чистое и дух правый. Поторопитесь же, Упованіе, подымите вѣжды ваши.

И, вдруг, над самым ухом моим прошептал старушечій голос:

— Господин! Очень рекомендую вам поставить свѣчу, хотя бы за десят су. Я здѣсь двадцать лѣт сижу, и знаю. Надо согрѣть воздух теплым воском и на воскѣ сохранятся всѣ слова ваши.

Я не пошевелился и ничего не отвѣтил, но видѣл, как старушонка торопливо и тревожно

насадила на гвоздь свѣжую восковую палочку и снова зашептала:

— У вас, может быть, нѣт денег? Вы с чемоданом? Не смущайтесь: я кредитовала вас на один франк.

Я взглянул на нее, на ея увеличенные под очками глаза, и сказал по-русски.

— Ты, старуха, — из звѣриной породы.

Она не поняла, утерла рукавом губы и отошла к ящику.

XVII.

Ревность.

Шагая по старым улицам Латинскаго квартала, я старался понять: почему в этот непріятный и корявый час моей жизни меня тянет именно сюда, к камням, почернѣвшим, лежащим на одном мѣстѣ по 400 - 500 лѣт? Мнѣ казалось, что я чудесным образом ухожу от Парижа современнаго, опустившагося, одряхлѣвшаго, уставшаго и давно уже желающаго сдать кому нибудь свои позиціи законодателя, образца, блестящаго выдумщика и устроителя жизни. Мнѣ казалось, что я переношусь к временам его молодости, к людям, одѣтым в цвѣтные камзолы, исполненным восторженной вѣры в Бога, способным из поколѣнія в поколѣніе класть стѣны собора, казнящим своих мясников, если тѣ продадут мясо в пятницу, к студентам, разговаривающим по-латыни и выбирающим ректора в церковкѣ св. Юліана. Я иду к существам, знающим цѣну христіанской душѣ и не пожалѣющим для меня ни куска хлѣба, ни стакана вина. Я трогал эти камни и мнѣ казалось, что

я пожимаю руку мастера, положившаго их. Я тихонько стучал в двери с тяжелыми литыми рѣшеткам и мнѣ казалось, что на мой стук отзовется веселая хозяйка, прабабка моей прабабки, на углу покажется ночной сторож и протяжно пропоет приказаніе — тушить огни и ложиться спать. Перед сном меня накормят, во славу Святой Троицы, тремя сортами супа, рыбы и мяса, и узнав, что я музыкант родом из далекой сѣверной страны, послушают моих пѣсен и, в благодарность, положат на ночлег в комнатѣ, в которой не потух камин.

Душа моя не спокойна и я хочу уяснить себѣ, что случилось со мной? От меня ушла женщина, которая в теченіе нѣскольких лѣт была моей женой, которая давно мнѣ надоѣла, и уход которой всегда представлялся мнѣ в моих мыслях событіем долгожданным и счастливым. Мнѣ с ней не везло и я считал ее порт-малером. Она была из той породы, из которой выходят горничныя. Выше всего для нея была одежда из «больших домов», или, как она говорила, платья от Ворта, бѣлье от Дусэ, обувь с улицы Сент-Оноре, и автомобиль — только не от Рено и не от Ситроена. Этот предлог «от» приводил меня, порою, в изступленіе. Читала она только полицейскіе романы и преклонялась перед Мата-Хари, — особенно в тот момент, когда та вышла на венсенскій полигон, нарумяненная, завитая, в великолѣпном мѣховом манто. У нея создалась та духовная запущенность, которая характерна для нѣкоторых кругов эмиграціи. Выросшая в Россіи около театра, она теперь презирала русское искусство, как нерентабельное. Она презирала художников, ютящихся в нетопленных мастерских, писателей, живущих в квартирах без

ванны, — и, иногда выспренним, напыщенным, французско-одеоновским тоном декламировала:

«К позорной казни присужденный, лежал в цѣпях венгерскій граф».

Меня, как музыканта, она презирала и про мою музыку говорила:

— Несосвѣтимая скука. Рѣдко, рѣдко дойдешь до аккорда, от котораго оборвется сердце.

Она ненавидѣла нотную бумагу, и свои черновики я прятал под замок. Когда я начинал играть, отыскивая мелькнувшую в головѣ мысль, — у нея начиналась демонстративная головная боль и по квартирѣ распространялся запах ароматическаго уксуса. Потом она заводила граммофон, из котораго неслись тоненкіе и кисленькіе англійскіе фокстротные тенорки, и одна, закутавшись в испанскую шаль, приплясывала на коврѣ, мелко перебирая ножками. Она с восторгом принесла из лавки пластинку, на которой индійская пѣсня из «Садко» была передѣлана в тустеп, безконечно играла ее, бережно всякій раз мѣняя иголки, и говорила:

— Вот так же и ты приспособил бы твою музыку. По крайней мѣрѣ, с каждой пластинки получишь по два франчка.

Я ее ненавидѣл, но втайнѣ радостно думал: «а все таки у меня есть аккорды, от которых обрывается сердце, даже такое лягушечье, как твое». И странно: это ея признаніе казалось мнѣ дороже похвалы самаго придирчиваго и капризнаго критика.

И, вот, она ушла. Казалось бы: слава Богу. У нея теперь старик, долгожданный результат хожденій по кафэ, по кинèматографам, по чаям у Румпельмайера, результат выѣздов на Ривьеру, пижам в видѣ матросских брюк, уроков гим-

настики на пляжѣ, плаванья на спинѣ и длинных курительных мундштуков из настоящей пѣнки. Она теперь имѣет коллекцію платьев от Пакэна, груды бѣлья от Дусэ, обувь с улицы Сент-Онорэ и автомобиль от Бюика. Я избавился от порт-малера, от тоненьких пискливых теноров, от испанской шали, от туфелек с невѣроятно противными каблуками. Но странно: мнѣ жаль ея уничтожающих и презрительных отзывов, в которых уж, если сердце обрывалось, то дѣйствительно, против желанія, послѣ внутренней упорной борьбы обрывалось и по настоящему. В этот момент теплѣли и смирялись наглые, холодные глаза и покорная, остро-женственная, она ложилась на диван и, доходя до желанія причинить физическую боль, я издѣвался над ея тѣлом, мял ея грудь, как маленькіе хлѣбцы, и с жадным любопытством слѣдил, как наполняется медленной синевой пространство, припухающее под глазами. Она вставала, отряхивалась, причесывала волосы на русскій пробор, готовила чай и, почему-то, всегда в этот раз доставала из шкафа свой торжестенный, любимый фарфоровый сервис с золотыми ободками вокруг чашек и я чувствовал себя не в Парижѣ, а в калужском имѣніи и ждал: вот раздастся стук в дверь, войдет заснѣженный ѣздовой, подаст почту и «Калужскія губернскія вѣдомости».

И в тот момент, когда я шел около Клюни, зазвучал солидный, басовый голос. Человѣк разговаривает сам с собой разными голосами. Живет в нем и лирическій тенор, и драматическій, и баритон, и бас. Бас — всегда резонер.

— Болван ты, болван ты! — говорит мнѣ мой резонер: — сколько лѣт ты прожил с жен-

щиной и ничего в ней не захотѣл понять. Помнишь ли ты тот день, когда она впервые пришла к тебѣ, на окраину провинціальнаго города? Как была молода она и свѣжа, и какой веселый апрѣльскій день стоял тогда! Ты, распуская хвост, говорил о своей поѣздкѣ в Вѣну, о том, какое впечатлѣніе произвел на тебя тридцать второй участок стараго вѣнскаго кладбища, на котором, в одном уголкѣ похоронены и Бетховен, и Моцарт, и Брамс, и Ланнер. Ты показывал ей маленькую фіалку, которую стащил с бетховенскаго памятника, и она повѣрила в твою нѣжность. Женщина никогда не любит опредѣленнаго человѣка, а любит только образ, который она сама создает и который хочет к кому-то прикрѣпить, и любит в нем его, этот образ. Нужно много времени, чтобы она почувствовала разницу между своим образом и тобой. Нужно много неделикатности, тупости и недомыслія, чтобы понять, что она — не на небѣ, а на землѣ. И когда она это поймет, пиши пропало, аминь. Ты вспомни, как тебѣ не хотѣлось ребенка, как ты повел ее на операцію в какой-то вонючій, на задворках, отель, гдѣ голодный и трепещущій от страха докторишко с татарскими усами, с мошенническим выраженіем глаз, ходил в башмаках на резиновой подошвѣ и кромсал ея тѣло, и тѣло твоего ребенка. Дрожал на примусѣ горшок с кипящей водой, а ты сидѣл в сосѣдном номерѣ и вверх ногами держал какое-то иллюстрированное приложеніе к газетѣ. Эта была бойня, на которой ты позволил убить, может быть, твоего сына, которому в удѣл, может, выходило быть талантом, полководцем, архитектором, пѣвцом. Понимаешь ли ты хоть теперь, что ты сдѣлал тогда, и потом

еще нѣсколько раз дѣлал то же самое? Потом она уже ѣздила одна, без тебя, и даже имѣла от доктора скидку, и готовилась к этому визиту, как готовится к своему утру старый палач, у котораго машина провѣрена и для волненія нѣт основаній. Но ей надо было быть матерью, — развѣ ея грудь, ея живот, ея великолѣпныя, как у музейных Венер, бедра были созданы спроста и безцѣльно? Начались инстинктивные поиски новаго самца, не такого тупого и жестокаго, как ты. Отсюда — порханья от Румпельмайера к Берри, отсюда потребность в соблазнительном оперении, отсюда платья от Пакэна, бѣлье от Дусэ и мягкія подушки в автомобилях, каких не дают ни Рено, ни Ситроен. Она могла бы тысячу раз измѣнить тебѣ и, как говорили калужскія горничныя, поставить тебѣ чайник, — она ушла честно и прямо, и какое тебѣ дѣло, как теперь сложится ея дальнѣйшій путь? Вѣроятно, он будет тяжел и крут, но нелегко было и у тебя, с твоей музыкой, с твоей душой, устремленной не к ней, с твоими капризами. Ты развѣ не помнишь ея постояннаго и ироническаго вопроса: «С добрым утром, мой дорогой! Как поживает ваш эгоизм?»

Я скрипнул зубами и заставил баса замолчать и скрыться в подполье. Стало понятно, что меня мучит, — мною, как болѣзнь, овладѣвает обыкновенная, повседневная, повсебытная ревность. Как-то сразу стало ясно, что основная и самая отвратительная составная часть ревности — безсиліе. Вот, почему руки то опускаются, как плети, то вдруг сжимаются в жесткіе кулаки. Кого бить? На кого броситься? И если прижаться к рѣшеткѣ Клюни и завыть, то подойдет полицейскій и отвезет в больницу. Теперь я

уже разрѣшил себѣ понять, к каким дѣтским и недостойным ухищреніям я прибѣгал, дабы не сознаться, что мною овладѣвает болѣзнь ревности, как я хотѣл это чувство перевести на другія рельсы и притворялся бѣдняком в церкви и какая-то очкастая старуха жалѣла меня. Я актерствовал, я играл перед самим собою, я настраивался на лад обездоленнаго и нищаго эмигранта и искал теплой руки, которая погладила бы меня по волосам и по щекѣ.

И, вдруг, заговорил баритон, пошляк, провинціальный любовник.

— Дорогой мой — сказал он пѣвуче, по професіональному устанавливая голос на носоглотку: — ей Богу же женщина похожа на трамвай. Ушел один, подойдет другой. Ушла одна, подойдет другая. Возьми себя в руки, перестань быть молодым Вертером и вспомни антверпенскую Дениз. Сейчас я тебѣ подскажу кое-что. Хочешь знать, на кого она похожа? А ну, покопайся в памяти, вспомни. Вспомни одну из угловых зал мадридскаго Прадо, на втором этажѣ. Вспомни Еву Дюрера, вспомни блики на ея тѣлѣ... Не это ли Дениз? Только не ногти, не эти по-нѣмецки общипанные, тусклые, без бѣлаго вѣнчика, ногти. Но голова, но волосы, но довѣрчивость глаз... А ты огорчаешься и злишься... Смѣшно, смѣшно...

И он звучно и насмѣшливо выговаривал щ вмѣсто ш.

Я щелкнул пальцами и баритон, поперхнувшись, провалился в преисподнюю, как Петрушка на кукольном театрѣ.

Я осмотрѣлся кругом. По тротуару шли мѣшки, наполненные печенками, кровью, желудками, желчными пузырями и недоваренной

пищей. Странной силой двигались их ноги, еще более странной силой рождалась и оформлялась, — в словах, в выраженіи глаз, в жестах, — их мысль. И среди них, стоял, прислонившись к рѣшеткѣ, я — лист с русскаго дерева, чужой и ненужный.

В послѣдній раз я остановился перед магазином, в котором дѣлают эмалированныя вывѣски. Вот, объявляет о себѣ консьерж, принимающій в починку соломенные стулья. Вот, — венгерскій ресторан. Вот, — просят входить, не стучась.

И ноги сами собой повернули в знакомый переулок.

XVIII.

Блудный сын.

— Двѣнадцат человѣк на гробѣ мертвеца и хо-хо-хо! одна бутылка рому!

Такими словами меня встрѣтил Луи. Он очень любил цитировать Стевенсона, Вальтер Скотта, Майн-Рида.

Прежде чѣм войти в кафе, я долго стоял на тротуарѣ и смотрѣл в окно. Та же, все та же похожая на коридор, продолговатая комната; тѣ же шесть крѣпкосколоченных, точно из мѣди отлитых, столов; тѣ же газовые, недѣйствующіе, но ярко начищенные рожки. В углу горѣла электрическая лампа и под ней, на столѣ, покрытом шерстяным одѣялом, Луи гладил бѣлье. На его лицѣ было сосредоточено то углубленное вниманіе, которое характерно для прачек, и всѣ гримасы, то при нажимѣ утюга, то при пробованіи его мокрым пальцем, клали на его бри-

тое лицо простонародно-бабьи черты. Утюг, похожій на остроносый башмак, проворно и ловко скользил по бѣлому полю, оставляя слѣд, похожій на санный. Когда он брызгал на бѣлье, раздувая щеки, в нем было что-то от Борея, как его рисовали старые итальянцы.

Луи всю жизнь «служил красотѣ». В молодости он писал стихи, картины, сочинял пѣсенки в ритмах Беранже, рисовал для модных домов, нигдѣ не успѣл, пошел в гарсоны и всегда выбирал дома, в которых засѣдали артисты. Он славился тѣм, что когда-то, еще юношей, он отводил пьянаго Верлэна на ночлег, снабжал Уайльда стеариновыми свѣчами, когда у того за неплатеж выключили газ, лѣчил Модильяни от лихорадки, и потом, в числѣ немногих друзей, шел за его гробом и т. д. Не артистов он называл фармацевтами и не любил политиков. Политики, по увѣреніям Луи, замѣчательны тѣм, что никогда не платят долгов и, в доказательство, называл десятки знаменитых имен, кончая их русскими извѣстными большевиками. Луи безошибочно угадывал дарованье, ставил на него, как на лошадь, и, выиграв, радовался, плясал, плакал и запивал на цѣлую недѣлю. Жил он лѣт сорок в одном и том же отелѣ и хвастался, что при нем два раза перестилали в домѣ паркет. Луи хвастался еще тѣм, что он — бургундец, что в их семьѣ было четыре брата, всѣ остались холостыми и один сдѣлался епископом в Чили. Он был самостійником, обожал Дижон и часто показывал фотографіи с видом дворца герцогов Бургундских, дижонскаго собора и дворца правосудія. Кромѣ того, он всегда доказывал, что лучшій ликер в свѣтѣ это — крем кассис.

— Итак, я вижу, сударь, что вы пусты, как барабан.

— Совершенно вѣрно, Луи. Пуст, как барабан.

— Но, очевидно, дѣла ваши шли недурно, если вы не показывались в наших мѣстах года два?

— Дѣла, дѣйствительно, шли недурно.

— Так. Это всегда так. Нѣт такой стѣны, которой не перешагнет осел, нагруженный золотом. А вы сегодня ѣли?

— Ѣл, Луи.

— Страсбургскій паштет? Миланскую колбасу? Шатобріан? Индѣйку с каштанами?

— Нѣт, Луи. Я ѣл русскую свѣжую икру, холодную осетрину с хрѣном и телячьи котлеты.

— Так.

Луи смотрит на меня и бритыя губы его шевелятся, будто он хочет что-то незамѣтно сжевать. Вдруг говорит:

— Странная вещь. Никогда не пробовал осетрины. Что это такое?

— Вообще — ничего, прѣсновато, папье-маше, но с хрѣном и водкой — пища богов.

— Верлэн любил маслины, черныя и крупныя, — отвѣчает Луи и лицо его вдруг загорается странным сѣрым, слегка фосфорическим свѣтом. Тонкія и, как будто, злыя губы начинают двигаться проворнѣе, в глаза постепенно накачивается странная сила, быт-может, увеличивающая зрѣніе, и мнѣ кажется, что Луи читает или хочет читать в моей душѣ. Я съеживаюсь, сжимаюсь, хочу защищаться и уже не люблю Луи. Но постепенно сѣрый свѣт потухает, перестают вспыхивать фосфорическія искры, губы разжимаются и дѣлаются толще:

окончился процесс, во время котораго Луи понял все. Он снова добр и снова — мой друг, и я снова люблю его.

— Был человѣк и нѣт человѣка! Ваша сдача, мамаша! — цитирует он из «Рокамболя» и идет в другую комнату, гдѣ стойка и гдѣ засѣдает хозяин.

Я слышу, как там загорается спор.

— Никаких кредитов! — говорит старческій хрипучій бас.

— Развѣ за мною что-нибудь пропадало? — спрашивает Луи.

— За тобою ничего не пропадало, — отвѣчает бас, — но мнѣ противно, что тебя, как грушу, обирают разные проходимцы. Ты подохнешь безштанником, и мнѣ, как твоему старому хозяину, придется тратиться на похороны. А всѣ эти церемоніи, как тебѣ хорошо извѣстно, стоят недешево.

— Ты не безпокойся, — отвѣчает Луи, — вопервых еще неизвѣстно, кого кому придется хоронить, а вовторых — на похороны у меня отложено. Предусмотрѣн катафалк, вѣнок самому себѣ, месса с органом и сто франков бѣдным.

— Одни и тѣ же штаны ты таскаешь по десяти лѣт!

— Есть люди, которые привыкают к одеждѣ, и мнѣ лучше поцѣловать кота под хвост, чѣм надѣвать новые штаны, которые скрипят, жмут в паху и скверно свертываются в колѣнях. И, все таки, если ты отказываешь в кредитѣ, изволь: я как во французском банкѣ, плачу наличными. Вот! Сандвич с ветчиной и кофе!

О прилавок звякнули деньги.

— Убери свои деньги к чорту! — презрительно сказал хозяин.

— Тогда не морочь головы и не теряй времени. Там сидит фигура, подыхающая с голоду.

— Политик? — живо спросил хозяин.

— Музыкант, — тѣм же довѣрительным шопотом отвѣтил Луи.

— Может быть, ему бы перед сандвичем влить в пасть портвейну?

— Блестящая мысль, — весело отвѣтил Луи, — нѣт лучше снадобья для подкрѣпленія сил. Зазвенѣли о стекло чайныя ложки, заскрипѣл нож по суховатому хлѣбу, зашуршал сахар, — и скоро, с подносом и тарелками, появился передо мною радостный и торжествующій Луи.

— На доброе здоровье, — сказал он, разставляя передо мною продолговатый стакан для кофе, тарелку с хлѣбцем, из середины котораго выглядывала вялая фіолетовая ветчина.

Глаза его на этот раз свѣтились тѣм особенным блеском, который рождается от доброты, не наигранной ,не искусственой, но органически живущей в сердцѣ. Это было наслажденіе, которое дают высшіе духовные дары. Как я был благодарен старику. Как я любил его облик, сухонькій, в традиціонном жилетѣ с рукавами, в бѣлом чистом фартукѣ, лысый лоб, склерозныя жилки на висках, сухія, старчески-твердоватыя руки с отчетливым узором жил и вѣерообразных костей. Онѣ жили у него, эти руки, когда держали перед глазами гравюру, или картину, или художественный книжный переплет. Мнѣ пришлось однажды видѣть, как он разсматривал большой брилліант, неизвѣстно какими судьбами занесенный в этот бѣдный дом. Он разсматривал его в круглое увеличительное стекло,

разсматривал тщательно близоруко, изучал каждую грань и было завидно наблюдать, какую радость умѣет вызвать человѣк к себѣ от той прелести, какою напоен драгоцѣнный камень. от того огромнаго заряда звѣздности, огней, искр, красок и времени, которые в нем нетлѣнно и таинственно живут и похожи па неопалимый куст.

Когда я окончил ѣду, из за перегородки вылѣз хозяин, согбенный, с нависшими сѣдыми бровями, в шелковой ермолкѣ, которая дѣлала его похожим на Клемансо. Он скоро признал меня, вспомнил и с минуту изучал мое лицо тѣм безцеремонным и вывѣдывающим взглядом, который есть только у стариков и который говорит об ослабѣвающей и дряхлѣющей талантливости. И куда дѣвалась его жестокость, с которой он разговаривал о кредитѣ! Он повел меня за перегородку, в комнату, которая была его логовом.

Стояла неубранная постель. Было жарко. Топилась круглая чугунная печь с глаголем трубы. На окнѣ, как солдатики, выстроились темнокаричневые аптечные пузырьки: старик, вѣроятно, принимал іод. На почетном мѣстѣ помѣщался круглый мраморный столик, закапанный чернилами, и два соломенных стула, которыми обыкновенно уставлены уличныя терассы кофеен. К стѣнкѣ прислонилось старое бюро, похожее на піанино, с полукруглой крышкой, покрывающей доску.

— Знаете что? — хитро сказал хозяин, — вы два года забывали нас и теперь вернулись к нам, как блудный сын. Не смущайтесь: это со многими случается. У нас нѣт козленка, но

мы на радостях выпьем чего-нибудь запрещеннаго и из хорошей посуды. Луи!

Мгновенно появился Луи.

— Достань хорошую посуду и абсент!

Луи потер руки и сказал:

— Вот это я понимаю! L'heure sainte de l'absinthe.

Он открыл шкапчик, который был полон однообразных зеленых бутылок и взял одну из них, крайнюю, откупоренную и начатую. Потом достал три стрекозиныя удлиненныя рюмки и налил в них, как святыню, зеленоватую, душисто-ядовитую жидкость.

Пригубили, — и точно огнем обожгло кончик языка, но, когда обжог начал остывать, получилось острое вкусовое наслажденіе и стала сладко туманиться верхняя часть головы. Я понял, что от этого напитка так же трудно отказаться, как от гашиша.

— Вы внимательно смотрите на все, что нас окружает, — сказал хозяин, — этот столик — это его любимый столик. Эти стулья — на них он всегда сидѣл. Эти рюмочки и из них он всегда пил.

Я не знал, о ком идет рѣчь, — и мнѣ было все равно. Мнѣ казалось, что я иду по лѣсу, всюду разлился утренній туман, солнца не видно, но птицы поют и душа славит Бога.

— Давай бювар, Луи!

Луи подал старый, потрепанный бювар с надписью: «L'Illustration».

Хозяин благоговѣйно раскрыл его. В бюварѣ лежал кусок обгрызанной и полинявшей розовой промокательной бумаги. Среди безпорядочно, вкривь и вкось отпечатавшихся писаній, ясно обозначился столбик строк.

— Видите? Их можно при желаніи разобрать, если смотрѣть через зеркало, — сказал хозяин.

Луи уже держал на-готовѣ круглое зеркало. Я навел его на промокательную бумагу, буквы стали в обычный порядок, но было трудно сразу привыкнуть к их расплывчатости и неотчетливости. Сдѣлав зрительное усиліе, я чуть не выронил зеркало из рук. Строки просвѣтлѣли и я без затрудненія прочел:

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon cœur
D'une longueur
Monotonne...

— Это было написано здѣсь, вот за этим столиком, и за этими рюмочками, — сказал хозяин и добавил, обращаясь ко мнѣ: — если у вас нѣт ночлега, Луи напишет письмо Морису.

XIX.

Девятый час.

Если есть люди, дегустирующіе вино, то у меня есть врожденное чутье воздуха. Если звѣзды вліяют на дѣла человѣка, то воздух, безконечно и ежеминутно мѣняющійся, является господином человѣка. Всѣ знают грубое чувство угнетенности, которое бывает перед грозой, успокаивающее вліяніе яснаго и спокойнаго разсвѣта, тревогу воробьиных ночей, смуту вспыхивающих зарниц. Воздух — сердце природы и человѣк иначе ощущает себя в лѣсу, чѣм в горах или на морѣ.

Когда я, с письмом к Морису, вышел из кафе, то, не глядя на циферблатт, мог, по плотности воздуха, сразу определить, что протекает девятый час вечера, — час усталости, мускульной ослабленности, перестроившагося на снисходительность и довѣріе мышленія, — час не мудрый, час глубокаго засыпанія самых чутких змѣй, и оттого, по своему, прекрасный. В этот час не нужно вѣрить ни сердцу, работающему по ошибочным предчувствіям, ни уму, ослабѣвающему в логикѣ. В этот час немудраго и восхитительно-сладостнаго пріятія жизни, человѣком распоряжается не он сам, а Ангел-Хранитель или Демон-Предатель. В этот час глаза источают лучи дымнаго, затуманеннаго вѣдѣнія, могущіе раскрыть даже чужіе помыслы.

Мнѣ весело смотрѣть людей, в этот час немного сходящих с ума. И потому к девятому часу приспособлено начало театральных представленій. Оттого люди, расчетливо, по средствам, купившіе билет, спокойно разыскавшіе кресла, заботливо спрятавшіе в жилетный карман номер вѣшалки, могут в то же время вѣрить, что за занавѣской, поднятой грубо скрипящими веревками, протекает настоящая жизнь, и актер, повторяющій слова, громким шопотом поданныя из суфлерской будки, дѣйствительно Гамлет, Макбет или король Лир. Вазелин, размазанный по щекам актрисы, они примут за слезы, бенгальскій огонь — за пожар, красную лампочку в каминѣ — за уголья.

В этот час люди могут выносить и прощать идіотскія нелѣпости кинематографа или оперы, вѣрить в вѣдьм Шекспира или в то, что пріѣхавшій к сыну отец, украдкой слѣдя за вступленіями дирижера, может распѣвать сладостным

баритоном куплеты о красѣ Прованса. В этот час хочется благополучных концов пьес, торжества добродѣтели, этот час — благопріятен для наглецов и нахалов, в этот час легко подтолкнуть дѣвушку на послѣднее рѣшеніе.

На конвертѣ, который вручил мнѣ Луи, был написан адрес отеля, и я пошел по направленію к улицѣ Кота, который ловит рыбу. От множества огней фальшиво сіяла рѣка, темная в серединѣ и искусственно свѣтловатая у берегов. Какая разница: отраженіе луны или крупных звѣзд и этих газовых, приторных столбиков, уставленных по берегу в разсчетливой послѣдовательности. Так бывает и в морѣ: парус не нарушает его ритма, но пароход, но броненосец, но моторная лодка — всегда чужды ему, враждебны и противны.

В бюро отеля сидѣл третій старик этого вечера, — и еле повернулся ко мнѣ, когда я стукнул в стекло. Я был «не то»: старик поджидал парочек, которыя платят усиленную цѣну, не забирают много времени, и для которых в парижских отелях всегда заготовлены первые два этажа. Мой чемодан был слишком краснорѣчив.

— Чѣм могу служить?

Я выложил на стол письмо. Старик не прикоснулся к конверту и только вскользь, приставив к глазам пенснэ, как лорнет, взглянул на почерк, потом на меня, в точки глаз. Этот взгляд напоминал мнѣ и Луи, и его хозяина. Очевидно, он отпускается старикам за выслугу лѣт.

— Возьмите на доскѣ ключ из нижней линіи, — сказал старик.

— Какой?

— Какой хотите. Предупреждаю, что проточной воды и вообще всяких этих модных штучек у меня нѣт. Бѣлье — грубое и латанное. Баб послѣ часу ночи не допускаю. Какое вы любите число?

— Четырнадцатое, — отвѣтил я.

— Ну вот, вам везет. Берите четырнадцатый, кстати — он свободен. Третій этаж налѣво. Луи, старый чорт, здоров?

— Здоров.

— Скажите ему, что он мнѣ надоѣл, и что я сильно нуждаюсь в абсентѣ. До свиданья.

Я уже начал подниматься по винтовой лѣстницѣ, волоча свой чемодан как ведро воды, и вдруг меня остановил оклик из бюро:

— Стой!

Я вернулся, и старик опять взглянул мнѣ в точки глаз.

— И вот что еще, мой друг, — сказал он тоном гадальщика, — в твоем государствѣ плохо работает не один только министр финансов. Скажу короче: у тебя плохо работает министр сердца. Дай им отставку. Ты — плохо составил свой кабинет. Так, вот. Знай, что мнѣ семьдесят лѣт. Знай, что я больше всего не люблю полиціи, когда она топчется в моих коридорах, судебных врачей, госпитальных карет и зѣвак под окнами. У меня нѣт охоты разговаривать с сотрудниками вечерних газет и ходить в судебныя установленія на допросы. Знаю одно, и это вѣрно, как Бог свят: нѣт на землѣ ничего такого цѣннаго, из-за чего стоило бы преждевременно терять солнечный свѣт и тепло. Но, если ты не выдержишь напора собственной глупости и дряблости, ради Бога и его звѣзд, не вѣшайся в моем отелѣ, не травись и не стрѣляйся. На

это есть Венсенскій лѣс. Я всегда отпущу тебѣ сумму на покупку трамвайнаго билета. Понял?

— Понял.

— Ну вот и хорошо. И еще лучше, что ты улыбнулся. Улыбка — это хорошая дезинфекція. Понял?

— Понял.

— Иди и мирно спи. Окна твои выходят на рѣку, завтра увидишь Сену, мосты, баржи, людей и, ах, как это хорошо!

«Какая славная, облѣзлая, уютная звѣрюга! — подумал я: — сидит в теплой норѣ, сосет лапу и все понимает. Если в Парижѣ найдется сто таких существ, как мои старики, то этому городу не грозит никакое проклятіе, даже библейское».

Номер оказался чистеньким, со старым лысым ковром на кирпичном полу, с неизбѣжным камином и ржавым зеркалом, с узенькими стульями и с широкой національной кроватью.

Я взглянул в окно, — и какой-то злокачественный нарыв, все это время мучавшій меня, сразу лопнул. Я понял, что и жена, и лилипуты, и директор, и Антверпен, — все это не существенно и преходяще. Главное в том, что ничто здѣшнее не пристало ко мнѣ и я ни к чему не пристал и пристать не могу: я чужд и этому городу, и этой землѣ, и этому небу, и даже этим звѣздам, которыя стоят не на тѣх мѣстах, на которых я знал их когда-то... Большая Медвѣдица должна быть за дровяным сараем, а тут она гдѣ-то в центрѣ, на видном мѣстѣ. Я понял, что мнѣ нужно быть сейчас не здѣсь, а ѣхать в почтовом поѣздѣ из Ростова в Москву, цѣлый час стоять в Воронежѣ и чувствовать перемѣну климата: прощайте, тополя, и здравствуйте, бе-

резы. И еще главнѣе: слышать мѣняющійся акцент и ритм рѣчи, и твердое о. Ѣсть борщ и в нем — кусочек черкасскаго мяса, пить пиво из бутылки с выдавленными буквами, читать вчерашнія московскія и петербургскія газеты и в петербургских, на первой страницѣ, продолговатыя театральныя объявленія. Должен видѣть: свѣчи в вагонах над дверями, поднимающіеся диваны, жуликоватых кондукторов в поддевках и с фонариками, — слышать: заботливые звонки на станціях, перебранку из-за мѣст, чавканье мужиков, плач ребенка. Воронеж, Тихон Задонскій, сборщицы на монастырь, темно-синія семикопѣечныя марки, мѣдные пятаки, зеленыя трехрублевки, коробки папирос, лаппиновскія спички, и, самое главное, русскій вечерній воздух здѣсь, в Воронежѣ, на раздѣлѣ сѣвера и юга, единственный по сладости и очарованію воздух, — вот, что мнѣ нужно сейчас, вот, без чего я задыхаюсь, как в безвоздушном колоколѣ, вот, о чем я тоскую днями и ночами и не могу доискаться до причины моей болѣзни и моих воздыханій! Пусть будут сном эти года, — я проснусь сейчас и услышу:

— Рязань, Москва, поѣзд на первой путѣ!

Я не могу здѣсь больше жить, возлѣ этой рѣки, на которой построен морг, возлѣ этой двухбашенной колокольни, по ступенькам которой бѣгал сумасшедшій горбун, возлѣ этих коротеньких мостов.

— Вот он, обманный час, говорю себѣ: — вот оно, наважденіе. Успокойся. Твоя Россія ушла в подводное царство, как град Китеж, а то, что осталось, сошло с ума и свое первородство продало за чечевичную похлебку...

И, вдруг, из сосѣдней комнаты невидимый и

задорный оркестр, взяв ритм курьерскаго поѣзда, рванул по струнам банжо и скрипок, сыграл головокружительный кабацкій ритурнель и, с лицемѣрным благочестіем, саксофон заиграл молитву из моцартовской обѣдни, передѣланную в фокстротт. Это был необыкновенно удачный подсказ.

— Читай книгу Іова, — говорил я себѣ: — Бог дал, Бог взял. Все добро зѣло. Аллилуя.

А еще через нѣкоторое время в мою комнату вползло странное, небритое, однорукое существо в бумазейной пижамѣ и турецких туфлях, долго и учтиво извинялось за безпокойство и сказало:

—Каждый вечер, в девять часов и пятьдесят минут, я ставлю на грамофон фокстротт «Аллилуя». Как раз в это время мнѣ на фронтѣ оторвало лѣвую руку, но я остался жив и люблю жизнь больше, чѣм с рукой. Аллилуя, это по-еврейски значит: — Хвалите Господа. Вас это не будет безпокоить?

— Нисколько, отвѣтил я: — напротив, это меня очень устраивает.

И подумал, тайно обращаясь к старику, сидящему в бюро:

— Нѣт, старый чорт, на трамвай к Венсенскому лѣсу я у тебя не попрошу.

XX.

Перекресток.

Сейчас на этом перекресткѣ растут четыре молодых дерева: зеленый квартет, как здѣсь их зовут. Когда-то мнѣ казалось, что между ними незримо вырыт чудотворный колодезь, к водам

котораго устремляются люди со всѣх пяти частей свѣта. Иначе нельзя было объяснить, чѣм влечет сердца этот самый обыкновенный, типически-парижскій угол Монпарнасса. Правда, над ним — большой просторный кусок неба, благодаря гористости здѣсь чист воздух; здѣсь провинціально и широкія террасы кофеен напоминают пляжи; здѣсь не обращают вниманія на одежду; здѣсь можно спѣть пѣсню и полицейскій вам подтянет; здѣсь невидимой властью отмѣнены мѣщанскіе законы о нарушеніи общественной тишины и спокойствія; здѣсь, если вам не холодно, вы можете пройтись по тротуару голым; до сих пор еще не растаяли и оказывают свое дѣйствіе флюиды садов Бюлье и Фіалковой бесѣдки; неподалеку, на кладбищѣ, лежат кости Мопассана. Зѣсь пыталась привиться и не привилась продажная любовь: этому немало поспособствовало классическое цѣломудріе Латинскаго квартала. Это, пожалуй, единственное мѣсто в Парижѣ, гдѣ в любви проявляют безкорыстіе, любят преданно, нѣжно и, в случаѣ подозрѣній, шумно дерутся на людях.

Художник может за сотни тысяч продавать свои картины и критика может изойти в похвалах, но настоящая слава прійдет тогда, когда его признают здѣсь. Чтобы понять в чем дѣло, надо просидѣть здѣсь нѣсколько лѣт подряд: случайному, торопливому и занятому посѣтителю такое времяпрепровожденіе покажется пустым занятіем.

Сначала все заварилось в тѣсном и бѣдном угловом кафе под названіем «Ротонда». Отличіе этого заведенія заключилось в том, что, спросив чашку кофе, можно было просидѣть за ней

цѣлый день. У хозяина в запасѣ всегда была твердая бумага, цвѣтные карандаши и акварельныя краски. За цинковой стойкой стоял буфетчик, который всѣх звал Казимирами и котораго, в свою очередь, всѣ звали Казимиром. Говорили, что здѣсь — пуп земли и меридіан проходит через Казимира. Залой правил метр-д-отель Рауль, про котораго всѣ знали, что у него — деликатный желудок и что поэтому он, на особых правах дворянства, пользуется дамским лавабо, причем дамы «Ротонды» навсегда утвердили за ним эту привелигію. Свою кліентуру Рауль молча, по аристократически, презирал и когда «Ротонда» к десятому часу вечера начинала галдѣть особенно горячо, — Рауль становился в наполеоновскую позу, смотрѣл на чернь и тонко улыбался. Рауль был увѣрен, что подлинная истина — на правом берегу. С виду он был меланхоличен, но при первых же аккордах драки в нем просыпался гальскій пѣтух, бросающійся в бой с подскоком: оттого его рединготт носил слѣды многочисленных, чуть замѣтных, но несомнѣнно существующих слѣдов штопки. Другим мрачным пятном «Ротонды» был нѣкій голландскій тощій и высокій еврей, носившій на головѣ индусскую чалму и работавшій под индуса. Он гадал на картах, а в складках чалмы хранил порошок кокаина, который продавал вѣрным людям, на чем, впрочем, и попался. Все остальное на три четверти было молодо и на всѣ сто процентов — весело, задорно и шумливо. Иностранцы здѣсь пользовались полным равноправіем и послѣ войны прежде всѣх мѣст заговорили по нѣмецки в «Ротондѣ». Среди толпы шныряли сводники, купцы, большевицкіе агенты, кинематографическіе

актеры, газетчики, консула, чудаки, влюбленные и сумасшедшіе. В день бала четырех искусств ряженые предварительно приходили сюда для оцѣнки костюмов и тогда скандинавскія и американскія дѣвицы смотрѣли на них с восторгом и шептали: «Это — Париж!». Создалась репутація грѣшнаго мѣста, адскаго филіала. Дѣвченки, пріѣзжавшія из европейской провинціи, первым долгом неслись на метро Вавэн, входили под полотняную террасу с видом богомолов и через два мѣсяца смущенно спрашивали доктора, почему у них остановились крови. За кассой, рядом с матерью, засѣдала молодая рыжая красавица и ея сливочное статное тѣло, какое бывает только у рыжих, вносило в кафе обаяніе добродѣтели и недоступности, сводило с ума всѣх пейзажистов и они кричали, что видят ее через платье и пытались писать стихи, представлявшіе для поэтов предмет посмѣшища. Красивое и уродливое, умное и глупое, молчаливое и болтливое, талантливое и бездарное, все сталкивалось здѣсь в необозримый кавардак и, сталкиваясь, высѣкало иногда поразительныя и незабываемыя искры, — вспыхивавшія, секунду жившія и потом безслѣдно пропадавшія. Цѣлыми автокарами сюда пріѣзжали нѣмецкіе лидертафели и пѣли «Ротондѣ» серенады. Поэты прославляли ее в стихах, газетчики — в многословных корреспонденціях. Дѣвченки тысячами разсылали открытки с ея фотографіями. Кончилось тѣм, что фонд де коммерс «Ротонды» стал оцѣниваться в милліонах. Монпарнасская босая команда на своих костях создала большую матеріальную цѣнность и этой цѣнностью, как костью, подавился хозяин: он рѣшил взбить сливки и расширить дѣло. При-

купили сосѣднее кафе, проломили стѣну и сдѣлали новый большой зал, подвѣсив к потолку хрустальныя люстры. Увы. Это привлекло зависть конкурентов. Начали строить другія заведенія, большого размаха, вокзалообразныя. Засверкали ртутныя вывѣски, запахло ресторанным чадом, сливочным маслом, стремленіем к неосторожно-откровенной наживѣ, к горѣ Парнасса приблизилось что-то монмартрское, художники стали считаться посѣтителями малодоходными, «кафекремистами», их стали осаживать ь темные углы. Начала работать полиція нравов, и чудотворная вода колодца ушла в новое, неизвѣстное мѣсто. И теперь остается одно: между четырьмя деревьями поставить памятник тому неизвѣстному, успѣвшему и неуспѣвшему артисту, который создал міровое имя этому незамысловатому кусочку земли.

Гдѣ вы, мои милые собесѣдники и совопросники? Гдѣ Бураковскій? Вѣдов? Лунев? Айша? Кудесник, любимец богов? Слоник? Жано? Гдѣ всѣ тѣ, с которыми так незамѣтно и весело проходила горькая жизнь изгнанія?

Я давно не был здѣсь и когда, как князь на мельницу, вновь пришел послѣ долгой разлуки, то увидѣл непривычно пустынную террасу, внутри, под потолком, висѣл все тот же барабан, — но сколько свободных мѣст на клеенчатых диванах!

Без удивленія меня встрѣтил Рауль. На его лицѣ написано: что-ж? Уходят - приходят; прійдут - уйдут; разбогатѣют - разорятся; разорятся - разбогатѣют; прославятся — прійдут в ничтожество; прійдя в ничтожество — снова просіяют.

Рауль меланхолически жмет мнѣ руку и говорит:

— Давненько.

— Да, — отвѣчаю я.

— Гдѣ?

— Там.

Рауль отходит. Он постарѣл и справил себѣ новенькій редингот. Так же, как встарь, тщательно, проглажена складка брюк, так же аккуратно блестит кожа сапог и только в волосиках поблескивает сѣдинка.

— А как желудок, Рауль?

— Принимаю магнезію.

Сажусь за стол, на привычное старое мѣсто. Незнакомый лакей приносит кофе. По стѣнам развѣшаны картины свѣжей работы: все тѣ же марокканскія мечети, русскія тройки, параллелограммы, человѣк со скрипкой вмѣсто носа, бретонскіе пейзажи, проект памятника Бодлэру, устрицы на тарелкѣ, испанскій лук, верблюды в пустынѣ...

Тишина; четыре часа дня. В это время в Россіи начинали звонить к вечерням. Впрочем, не надо о Россіи. Не надо снова поднимать в себѣ сладкой и ядовитой тоски. Сижу с закрытыми глазами, приложившись головой к стѣнкѣ. Кофе стынет. Пусть! Ясно ощущаю, как опускаются мускулы, как медленнѣе начинает стучать сердце, перестают болѣть виски, — и только обостряется слух. Из глубины комнаты, от окна, доносится хриповатый басок:

— Вот, например, собачій налог. Он существует и в жизни собак играет большую роль, но собаки никогда не догадаются и не узнают об его существованіи. Так и с людьми. Есть множество вещей, их касающихся, и о которых

они никогда и ничего не узнают, о существованіи которых не подозрѣвают и от которых, может быть, зависит самое главное в их жизни и смерти: счастье, любовь, талант.

Меня тянет в сладкую дрему и на мгновеніе проносится какая-то темноватая комната со множеством мягких восточных диванов, завязка сна, но я быстро прихожу в себя и жалѣю, что не увидѣл красавицы, которая шла сюда и чьи легкіе шаги я слышал вдалекѣ.

Открываю глаза. Передо мной стоит тарелка с кругляшками масла. Рауль помнит мои привычки. Я опять слышу:

— Перед войной экономисты, как дважды два, высчитали, что всѣх міровых запасов хватить на пять мѣсяцев и, тѣм не менѣе, война шла четыре года. Император Вильгельм говорил, что если бы у него за побѣду было бы девяносто девять процентов, то он не начал бы войны: за побѣду у него было сто девятнадцать процентов и он проиграл войну. Марксизм — чудо человѣческой логики, — и мы видим, с каким треском он повсемѣстно проваливается...

— Ну, дальше, дальше. Сноси яйцо скорѣе!

— Я хочу сказать, что человѣческая логика — одно, а логика, по которой построены мір и жизнь, совсѣм иная. И человѣк никогда этой логики не постигнет, как собака никогда не узнает о существованіи собачьяго налога.

Браво. «Ротонда» все таки жива. В четыре часа дня «Ротонда» всегда занимается разрѣшеніем міровых проблем.

Рауль прислал не булку, а тост. Этот пессимист помнит, что я люблю тост. Тост сдѣлан из крутого тѣста, хорошо замѣшаннаго и отлично выпеченнаго.

— Возьми христіанство. Христіанское ученіе, прежде всего, противорѣчіе всякой логикѣ. Ударят тебя в одну щеку, подставь другую. Возьми имѣніе и раздай нищим. Трости надломленной не переломи. Будьте, как дѣти. И эта нелогичность побѣдила мір!

Слышится отвѣт:

— Думаю, что высшая логика похожа на женскую логику.

Реплика:

— Возможно, что мір сотворен не Богом, а Богиней.

Жива «Ротонда».

Подходит Рауль и кладет на стол русскія газеты, свернутыя столбиками. Я всегда начинаю с объявленія. И вдруг вижу жирный текст и указующую руку.

«Гдѣ ты пропадаешь? Получил контракт на Испанію. Мадрид, Барселона, Севилья компри... Пора репетировать. Д. вышла замуж, пошли поздравительную телеграмму».

Дениз вышла замуж!

Я начинаю смѣяться. Всѣ посмотрѣли на меня не без удивленія. У всякаго барона фантазія своя.

Я смѣюсь тѣм предположеніям, в которых, порой, я не мог признаться даже самому себѣ. Иногда мнѣ казалось, что Дениз — гоголевская панночка, отец ея — пан сотник, а я — Хома Брут.

Теперь панночка вышла замуж. Хома Брут может вѣрить, что никакая нечистая сила на него не покушается.

XXI.

Рожденіе любви.

Как всякая дилетантская драка, эта драка не привлекла к себѣ особаго вниманія. Ограничилось дѣло тѣм, что у лакея выбили поднос с бутылками и на всю террасу распространился аптечно-парфюмерный запах какого-то сладко-ванильнаго ликера и затѣм послышались высшія французскія ругательства, произнесенныя не вдохновенно, а только старательно, с иностранным акцентом и грамматическими неправильностями. Во время драки противники по-женски хватали друг друга за напомаженныя прически, в движеніях не было видно расчета, отчетливости и изготовки, кулаки все время вертѣлись около раскраснѣвшихся морд, забыв о существованіи души, машинки и девятаго ребра. Сразу стало понятно, что дерутся не из-за женщин, а интересны, вдохновенны и поучительны бывают драки только этого сорта. Когда на террасу не вошли, а вступили городовые в пелеринках, то сразу все было кончено. Спокойные, сильные, моментально оцѣнившіе несерьезность положенія, имѣющіе на лицѣ выраженіе врачей, приступивших к операціи, они, обходя осколки и лужи ликера, ловко и безболѣзненно розняли драчунов и потом, одного за другим, выкинули их в большой зал, как на здѣшнем языкѣ называется тротуар, улица, площадь и вообще всякое мѣсто, освѣщаемое звѣздами.

— Он — корова, он — корова! — слышался голос, дѣтски-обиженный и произносившій «иль», как «илъ».

Я разочарованно вернулся к своему мѣсту

и увидѣл, что за моим столиком сидит Петров, один из ветеранов «Ротонды», — человѣк, долго и упорно стремившійся к славѣ через писаніе то масляных картин, то разсказов, то стихов, то драм, то философских трактатов, искавшій всюду новых форм и пренебрегавшій содержаніем. Когда славы не создалось, он сдѣлался хиромантом и гадал американцам, плохо ему вѣрившим; потом работал, как комиссіонер и попался на поддѣльных сертификатах Бодэ; выступал на кинематографических съемках, как статист перваго плана, умѣвшій носить смокинг и падать со всего размаха навнич; изобрѣтал кремы для цвѣта лица, дѣлал краску для рѣсниц на касторовом маслѣ и одно время дирижировал хором балалаечников в малиновых штанах.

— Ну, как живем, старина? — спросил я.

— Живем, хлѣб жуем, — отвѣтил Петров, — а когда скучно, занимаемся тѣм, что считаем у самих себя пульс.

То, что говорил Петров, всегда было дѣльно и солидно. Казалось, что человѣк разговорами только старается скрыть сою главную мысль о том, как добыть поскорѣе милліон.

— Вы знаете, что человѣческое сердце подвержено измѣненіям каждыя пять минут? Кстати: вы знаете, как рождается любовь? — спросил Петров без всякой связи с предыдущим.

— Знаю.

— Хвалитесь. Не знаете. Всѣ, а в особенности русскіе интеллигенты, думают, что любовь рождается постепенно, с теченіем времен, путем душевных наслоеній, — т. е., иными словами, заваривается, как чай, на медленном огнѣ. Это ошибка. У меня был знакомый художник медик,

который пять лѣт ухаживал за студенткой-медичкой. Пять лѣт они испытывали друг друга, присматривались, изучали, и пришли к выводу, что друг без друга не могут жить. Я был шафером и повѣнчал их в мэріи шестого аррондисмана. И что же? Через двѣ недѣли молодые закатили такую драку, что молодой на всѣх парах бѣгал жаловаться в полицію и у меня дней десять ночевал на диванѣ. Любовь рождается сразу, в один опредѣленный и очень короткій астрономическій момент.

— Например?

— Например, в пять часов, двѣнадцать минут и сорок восемь секунд. И, когда было сорок семь секунд, любовь находилась наверху горы, на другой планетѣ, и пребывала в замороженном состояніи.

— Петров! Скоро-ли у вас будет милліон?

— Почему вы об этом спрашиваете?

— У вас в глазах, в бровях, в рѣсницах мелькают милліоны. Весь ваш облик говорит: вот человѣк, который предназначен для милліона и которому будет принадлежать дом на Итальянском бульварѣ!

— Способны ли вы понять, — говорил Петтров, наклоняясь ко мнѣ и презирая мое остроуміе, — что дѣло не в том, буду или не буду я имѣть милліон, а в том, что всѣ будущія и грядущія поколѣнія, Бетховены и ничтожества, Шекспиры и мелкая человѣческая вобла, Ньютоны и приказчики из галлереи Лафайет, Рафаэли и владѣльцы нотаріальных контор, — всѣ он уже сейчас присутствуют на землѣ, хотя и не рождены? И вы думаете, что весь этот житейскій тарарам, всѣ эти войны, политическія борьбы, смѣны режима дѣлаем мы, которым

осталось на существованіе жалких двадцать-тридцать лѣт? Нѣт, это дѣлают они, незримые, не рожденные, но уже здѣсь, среди нас, присутствующіе, и мой милліон, — на чорта он нужен мнѣ, если я могу питаться сырой рыбой? Но я буду имѣть милліон, ибо он нужен ему, моему будущему Бетховену или человѣку, который будет знаменит только тѣм, что он не пьет сырой воды! Вы меня понимаете?

— Смутно.

— Итак, суть дѣла вот в чем. Видите, вот, на углу большой колоніальный, бакалейный и винно-гастрономическій магазин? Там в уличной кассѣ сидит она, семнадцатилѣтняя бретонка, только что пріѣхавшая из Анет, гдѣ ея папа и мама, как она говорит, служат доместиками. Зовут ее Люль. Пріѣхала в Париж — искать счастья. За мѣсяц работы получает четыреста колес и пищу два раза в день. Иду по улицѣ я, человѣк, изгнанный из Тульской духовной семинаріи, убоявшійся бездны премудрости, не одолѣвшій психологіи, философіи, гомилетики в размѣрах, одобренных училищным комитетом при Святѣйшем Синодѣ, русскій Ренан без латинской казуистики. Мыслитель и бас. Апостола когда читал — до раздранія завѣсы. Ректор благословлял и говорил из зависти: «орешь, как ишак на зарѣ». Разсказываю вам русскую біографію потому, что иностранную, ротондскую, вы знаете. Мой расцвѣт, мой золотой вѣк — времена нѣмого кинематографа. Писал сценаріи, но вы знаете тот порочный круг, в котором было заперто это великое искусство? Но дѣло — прибыльное: восемьдесят франков в день за вычетом комиссіонных.

— Вы стали статистом, — резюмировал я для краткости.

— Да! Я падал навзнич, рискуя отбить почки, танцовал факстрот, дрыгая задом, катался верхом, на коньках и на лыжах, потом стал гримировальщиком, разделывал картошку под орѣх, распутывал трэс, дѣлал гордые носы, наводил на рожи номер третій, пудрил рисовой пудрой и собственной слюной стирал невѣрныя линіи.

— Одним словом, в кассѣ сидит она, по тротуару бодро шагает он.

— Три часа дня, торговли нѣт. Она — хороша собой, как зацвѣтающій табак. Мнѣ нужно было два кило картошки, но, видя такое дѣло, я отхватываю кочан цвѣтной капусты и коробку сингапурских ананасов. Игра на богатаго барина. Дѣвчонка, хорошенькая, как пупс, одной рукой отсчитывает сдачу, а другой зажимает кинематографическій журналишко, в котором за полсотни франков печатают на первой страницѣ любую рожу, с самым нѣжным подписом. Вижу: дѣло. Беру часы-браслет и дѣлаю из них посланіе к евреям, пятьдесят франчей в редакцію и лучшую фотографію в смокингѣ и с задумчивыми глазами и, конечно, с папиросой, как надлежит дѣятелю искусства. Портрет напечатан и надпись: «надежда европейской кинематографіи, мсье Петров, великій артист». Покупаю спаржу, а дѣвчонка — сама не своя (бретонки очень страстны), то блѣднѣет, то краснѣет, то в жар ее, то в холод, пальчики дрожат, журнальчик вытаскивает. «Это вы, мьсе?». — «А кто же другой?», — отвѣчаю сурово и добавочно: «в три дня любую карьеру создать могу и в три дня разрушить. Чаплин у меня в

передней сиживал, а Грета Гарбо автографа на открыткѣ недѣлями добивалась. Приходите, говорю, в кафэ на Сен-Мишель, дом номер такой-то. Вы — фотоженик». Подзапасся деньжонками, гарсону на чай пять франков, «ото» на острова, катанье в лодкѣ и за обѣдом — Сен Жульен, а потом номера, Шильонскій замок, любовная Бастилія, гдѣ вся мебель скрипит, как море — в провинціальных театрах. Бретань поддержала свою старую славу, и когда стыд, застѣнчивость, робость, смущеніе перелились в страсть, то я сказал сам себѣ: «Ты побѣдила, Тульская семинарія!» Из журнальчика моя Люль знала, что Глорія Свансон получает в недѣлю милліон, Мэри Пикфорд — полтора, и так далѣе и тому подобное. Одним словом, — требованіе: завтра на экран. А я: «А гримм знаешь? А умѣнье ходить по сценѣ? А куда дѣть руки? А как смотрѣть партнеру в глаза? А править автомобилем? А гребной спорт? А теннис?» Одним словом, дѣвочка сидит в кассѣ, дѣлает мнѣ льготы в платежах, по вечерам приходит ко мнѣ в мезанин. «Почему бѣдно живешь?» «Философія, стоицизм, презрѣніе к роскоши, помогаю мамѣ в Одессѣ». Проходят еще времена. «Моя роль?». «В этом, говорю, фильмѣ, который сейчас крутим, ничего достойнаго твоего таланта нѣт. Подождем. Для дебюта нужна не роль, а фейерверк». Ждем. Время мчится с быстротою, как потоки с гор. Опять мѣсяцы, опять безмолвные вопросы, «ну что же, когда же, Пьеров?». Она звала меня не Петров, а Пьеров. Наконец, мнѣ волынка эта надоѣдает, рѣшил вести дѣло на чистоту и, в концѣ концов, чѣм я рискую? И говорю: так и так, милый Люль, все — обман, ничего у меня нѣт, третій день не жрамши си-

жу, бей меня по мордасам... Заплакала Люль, все рушилось, испанскіе замки повалились, китайскія тѣни перестали прыгать по стѣнѣ... Опять конторка на улицѣ, жаровня в ногах, казенное одѣяло... И, вдруг, раскрывает свою сумочку Люль, вынимает оттуда пятидесятифранковую бумаженку и говорит: «На, поди, поѣшь»... И вдруг любовь моя, бывшая за секунду до этого гдѣ-то на Юпитерѣ, на Большой Медвѣдицѣ, с быстротою свѣта принеслась ко мнѣ, на землю, в мой мезанин, я сжал эту дѣвочку в объятіях, заплакал над нею, глупо, по-тульски заплакал и понял, что умру за нее, пойду на каторгу, ограблю Ротшильда, взорву казначейство, что нѣт на свѣтѣ у меня милѣе и дороже существа, что не счастье, а счастьище привалило ко мнѣ и стала мнѣ понятна жизнь, и кровь как-то иначе заходила по жилам... И, вот, сегодня я вѣнчался с ней... И, вот, жду ее, а вот и она, рожденіе любви.

К столу подошла прелестная дѣвушка. На щеках — немного узаконенной парижской пудры, на губах — красное искусственное сердечко. И в цвѣтѣ кожи или глаз, понять не могу — но что-то от зацвѣтающаго табаку есть.

— Бутылку шампанскаго! — скомандовал я.

Лицо Петрова омрачилось.

— Дорогой мой! — предупредил он меня, — у меня всего сто су.

— Не безпокойся! — отвѣтил я.

— В «Ротондѣ» кредита нѣт...

— Знаю.

У меня не было и ста су. Кредита в «Ротондѣ», дѣйствительно, не оказывают. Я отправлялся в очень опасное плаваніе.

«Как ты выйдешь из положенія?» — спра-

шивал я самого себя, когда принесли бутылку, и мысленно отвѣчал: — «Выйдешь. Все устроится, Вѣра твоя спасет тебя».

XXII.

Вѣра.

Нам подавал лакей, котораго звали: Киндер-Лимон. Притащив ведерко со льдом и слегка запыленную бутылку шампанскаго, Киндер-Лимон был явно смущен. Он умѣл налить кофе, смѣшать амер-пикон с кассисом, открыть капсюльку воды Перье, но служить шампанским ему, видимо, никогда не приходилось. Развернув круглый штопор, он пытался поддѣть его под проволку, и Рауль, увидѣвшій это, позеленѣл от злости и срама. Как коршун, он бросился на Киндер-Лимона, вырвал у него из рук священную бутылку, ловко запеленал ее в салфетку, и, сохраняя на лицѣ независимый вид, отвернул свинцовую пломбу, и осторожно, нажимом большого пальца, начал давить на пробку до тѣх пор, пока не раздался звонкій, теноровый выстрѣл, который предшествует появленію островатаго газа и той шипящей торопливой струи, которая льется в стакан снѣжным комом.

Этот буржуазный и слегка торжественный шум обратил на нас всеобщее и слегка насмѣшливое вниманіе. И я не знаю, что сталось бы с Раулем, если бы в его череп могла заползти мысль, что драгоцѣнный, великій напиток, сливки вина, украшеніе праваго берега, льется в горло людей, все наличіе которых состоит из суммы в семь франков.

В то же время меня охватил задор. С магнетической силой в меня вселилась вѣра, та вѣра, которая движет горами. Вино будет оплачено. Деньги откуда-то прійдут! Не могут не прійти! Эти мысленные восклицательные знаки были ростом в телеграфный столб. Передо мной сидят молодожены, которых любовь вела по прихотливым тропам. Они только что пришли из мэріи и на канцелярскія пошлины и гербовыя марки издержали все, что у них было. Молодая держит в руках маленькій и уже слегка промаслившійся сверток — ея свадебный пир: кусочек сыру или ветчины. Перед тѣм, как лечь спать не на прежних легковѣрных, а уже на солидно-супружеских основаніях, когда не страшно даже зачатіе, ей будет не хватать того возвышеннаго коронаціоннаго тумана, который создается шумом свадьбы, блеском церковной люстры, латинской рѣчью, росписями в графах торжественных книг, цвѣтами, шелестом крахмальной фаты, наличіем тонкой и самой дорогой в жизни рубашки. Как же не устроить ей пира? Как не вспомнить Каны Галлилейской?

И я ощущаю высокое велѣніе: не заботься ни о чем, оттони всякія сомнѣнія, устрой этим спаровавшимся голубям пир, развесели и ободри их добрым, веселым и благородным вином. Все устроится добро зѣло и ты уйдешь из этого дома непосрамленным. Как когда-то вода превратилась в вино, так желтыя почтовыя расписки и вырѣзки из газет превратятся в твоем кошелькѣ в деньги. Веселая радостная вѣра зажгла огнем все существо мое и я готов был в этот момент принять любое пари. И потому мнѣ были невѣроятно смѣшны благоразумныя рѣчи Петрова.

— Ох, — сказал он, кряхтя, — вы очень увѣрены в том, что у вас в карманѣ есть достаточно денег, чтобы погасить огонь счета?

— Дорогой Петров! — отвѣтил я: — в этом заведеніи принимают в уплату квитанціи на заказныя письма.

— Ох! — продолжал Петров наставительно: — не забыли ли вы кошелек дома, на комодѣ? Рауль — благ и мягок, но когда дѣло коснется денег, он — тигр.

— Петров! Вы думаете, что он будет бить меня за неплатеж?

— В демократических республиках лупят за неплатеж сильнѣе, чѣм в странах с самодержавным режимом, — отвѣтил Петров, — и все таки я думаю не о битьѣ, а о воплях и скрежетѣ зубовном, что одинаково непріятно.

— Ваше здоровье, Петров, — сказал я и, повернувшись, крикнул: — Мосье Рауль, еще бутылку!

Как духовая музыка веселит отставную кавалерійскую лошадь, так мое требованіе развеселило Рауля. Ему давно осточертѣли кафэ-крэмы в полтора франка. В его головѣ мгновенно пронеслись воспоминанія о Максимѣ, у котораго он начинал карьеру, о довоенном размахѣ жизни, о русских барах....

— Господа! Неслыханное происшествіе! Рауль улыбается! — громко прошептала «Ротонда». — Художники! Навострите карандаши и увѣковѣчьте улыбку Рауля! Рауль улыбается, как викторіарегіа, один раз в году!

Рауль, пренебрегая шопотами, пришел с новой бутылкой и скромно сказал:

— Я вам сейчас продемонстрирую другой

способ откупориванія. У стараго Максима это называлось: звон Реймскаго собора.

Про Рауля говорили, — и он с гордой скромностью никогда этого не отрицал, — что в его жилах течет благородная кровь, наслѣдіе прав первой ночи. Я вспомнил об этом, взглянув на его длинные, нѣжные, нервные пальцы, которыми он, с изящной легкостью, снял проволочную коронку и, как бы шутя прикоснулся к пробкѣ, и потом, с увѣренным терпѣніем фокусника стал ожидать результата. Было видно, как в бутылкѣ забурлили какія-то проснувшіяся силы, и спустя мгновеніе пробка вылетѣла пулей и упруго ударилась в полотняную крышу террассы, на мгновеніе образовав конус палатки. Взвилась бѣлоснѣжная струя, похожая на ракету, и тут мы поняли, в чем заключалось великое искусство Рауля. Заранѣе приготовленным стаканом он изловил струю на лету, и собрав ее в стекло, как в рог изобилія, придворным жестом поднес нашей дамѣ. Струя шипѣла и обезсиливая отстаивалась, снизу вверх, в золотую винную влагу.

— Рауль! Ваши предки жили при Версальском дворѣ! — воскликнул я.

Рауль сдѣлал на лицѣ взволнованное выраженіе, означавшее: «Об этих вещах не время и не мѣсто говорить» и с достоинством потомственнаго жантійома отвѣтил:

— Пейте вино сейчас же. Вы имѣете рѣдкій шанс услышать первичный запах вина, летавшаго по воздуху. Это называется — крылатое вино.

Мы поспѣшно выпили и единодушно соврали, что первичный запах был слышен отчетливо. Рауль был счастлив и прошелся вдоль тер-

расы, заложив руки назад и слегка приподымаясь на носках, что придало ему усиленный вид утонченности и элегантности.

Петрова же явно мучил дух Фомы Невѣрнаго. Казалось бы, какое ему было дѣло? Тебя угощают вином — пей, потом бери свою молодую жену, веди ее домой, и будь счастлив. Нѣт, ему хотѣлось вложить персты в мои раны.

— Двѣ бутылки вина стоят, по меньшей мѣрѣ, сто двадцат франков. Суммочка по нашим временам не вредная.

Не обнауживая раздраженія, я обратился к Раулю.

— Добрый друг, — сказал я, — звон Реймскаго собора показался нам величественным. Поставьте в лед еще один флакон.

Петров подавал свои реплики по русски, и их не понимала его молодая жена. Она наслаждалась пиром, солнечной террасой, вниманіем, которое мы к себѣ привлекали, прекрасной службой Рауля. День ея свадьбы не оказался будничным, во всем был виноват добрый дядя, посланный с неба, и она посматривала на мужа влюбленно, а на меня — благодарно. Вино уже ударило ей в мозжечек, движенія и жесты слегка потеряли нормальныя пропорціи. Цвѣт глаз стал синѣе и вѣерообразныя подкрашенныя рѣсницы казались лучиками веселья и довольства.

— У меня не блестит нос? — спросила она нас обоих, и настроив перед подбородком зеркальце, попудрилась отрывистыми движеніями и посмотрѣла на себя сначала лѣвым, потом правым глазом. Провѣрив силу лица, она плотнѣе натянула на ухо блинчик берета, закруглила окончаніе спадавшей на щеку завитушки, положила нога на ногу, явно желая блеснуть ли-

ніей подъема и вѣнчальным, открывшимся в три четверти длины, шелковым тугим чулком. Потом приступила к самому главному: достала столбик помады, усилила сердечко, нарисованное на губах, и у меня создалось впечатлѣніе, что у нея от этого прибавилось электричества. Стало ясно, что сейчас нужно бы вызвать сильный и вѣрный автомобиль и покружить ее вдоль озер Булонскаго лѣса и тогда она покажется самой себѣ принцессой, утопающей в роскоши, и этого хватит ей на много мѣсяцев, до тѣх пор, пока не станет ясно, что Петров — скучен, уныл и бездарен.

Меня все больше и больше охватывало неудержимое веселіе и со стороны могло показаться, что жених — я, а не Петров. Мы с Люль два раза спѣли веселую и модную пѣсенку, которую на парижских улицах трогательно насаждали гармонисты, я вторил ей в терцію, иногда сочиняя собственныя варіаціи, а у Петрова в глазах скользило то, что французы назвали необыкновенно удачным словом: angoisse. Теперь я уже отдал бы любую руку на отсѣченіе в увѣренности, что не только будет оплачен счет, но что мы еще будем и обѣдать и кататься по Булонскому лѣсу. Петров же, в тайный отвѣт на эти мысли, вдруг судорожно вздохнул и сказал:

— Ох, мама, мама, мама... Какая дрр... ама, ама, ама!

И, наклонившись ко мнѣ, добавил:

— А не отправить ли нам Люль домой?

Это я благодарно оцѣнил: Петров не хотѣл оставить пріятеля в тяжелый момент и рѣшил вмѣстѣ со мной броситься в пасть льва.

Но я отвѣтил:

— Дорогой друг! Вино, как отличный аперитив, разбудило аппетит, и мы еще пойдем ѣсть устрицы и обѣдать. Не так ли, Люль?

Люль захлопала в ладоши, подняв их в уровень лица.

— Отдайте же ваш ужин вон тому старику! — добавил я.

Около столов, бросая тайно-просительные взгляды, прохаживался сгорбленный, в широком костюмѣ с чужого плеча и в чаплиновских ботинках, нищій. Глазами он прощупывал то Рауля, то отверстіе метро, из котораго могла появиться полиція. Сверточек от Люль он принял, мечтательно глядя на вывѣску.

— Господи! — тайно воззвал я к небу: — неужели же Ты еще не превратил почтовыя квитанціи в деньги?

Раскрыв бумажник, я увидѣл, что в том отдѣленіи, в котором обыкновенно хранились деньги, попрежнему не было ничего, а с почтовыми квитанціями, визитными карточками, вырѣзками из газет ничего сверхестественнаго не приключилось.

В это время Киндер-Лимон подал мнѣ записку, свернутую, как аптекарскій порошек.

— S. O. S. ! — писал мнѣ кто-то: — вы пьете шампанское и бросаете на вѣтер деньги. Что стоит вам прислать два франка человѣку, который сидит здѣсь за чашкой кофе с утра и не может сняться с мѣста потому, что заплатить нечѣм? Отекли ноги, в икрах — уже судороги. S. O. S.!

Достав послѣдніе два франка, я передал их Киндер-Лимону. Через минуту он доставил мнѣ посланіе второе.

— Начались ротондскія штучки! — проворчал Петров недовольно и постучал пальцами по столу.

XXIII.

Deus ex machina.

— Почему же вы не читаете записки? — спросила Люль, — может быть, там еще сидит бѣдняк, взывающій о помощи? Неужели в такой счастливый день мы откажем ему? Вѣдь кто-то собирается ѣсть устриц и пулярду с рисом, э?

В желаніях женщины всегда есть что-то божественное. Я развернул записку.

«Вот уже час цѣлый сижу в глубинѣ кафе, — так начинались первыя строки, написанныя знакомым извилистым почерком, — и наблюдаю за тобой ,как ты чертишь (от слова: черт). И когда на тебя прійдет укорот (от слова: укротить). Ты что? Разбогатѣл? Шампанское як брагу хлыщешь. Каждый день печатал в газетах объявленія, взывая к тебѣ. Сегодня рѣшил самолично пойти в твое логовище. И накрыл! Теперь от меня уже чорта с два ускользнешь. Думал одно время, что ты подох, сыграл в ящик, утонул, удушился и, не обрѣти я тебя сегодня здѣсь, завтра бы нанес визит в морг. Не желая нарушать вашей честной компаніи, прошу подойти ко мнѣ на пару слов. Дениз вышла замуж, и ты получил гарбуза, с чѣм вашу милость и поздравляю толстым концом и обратно».

«В яви чудо совершается», подумал я словами хора из «Царя Салтана» и словами же оттуда сказал Петрову:

— Покажи нам, мѣсяц ясный, лик директора прекрасный.

Петров фыркнул, ничего не понял и явно встревожился, когда я сдѣлал первое движеніе, чтобы встать из-за стола. Говоря ротондским языком, Петрову показалось, что я хочу дать ходу и оставить его одного для расплаты за пир. Он знал ротондскія штучки и вторыя двери.

До сих пор все для него было ясно и только теперь начинались запутанности.

— Петров! — сказал я, — вы можете сопровождать меня, если хотите.

Петров покраснѣл, покачал ногой и неярко улыбнулся. Этот жест поняла и Люль, насторожилась, придвинулась к мужу и в глазах ея промелькнула трезвая, холодно-вопросительная искорка.

Директор сидѣл под большой картиной, изображавшей русскую тройку и браваго ямщика. Лошади были деревянныя, снѣг — деревянный, вожжи деревянныя, полость деревянная и поцѣлуй парочки казался ударом топора по дереву. Директор кушал лимонный сок, засыпая его сахаром. При моем приближеніи он, бросающим жестом, протянул обѣ руки ладонями вверх. Потом, по-актерски, подставил мнѣ щеку для поцѣлуя, обдал запахом сигарнаго табака и усатина и спросил:

— Из каких источников ты разбогатѣл? Ты сдѣлался придворным артистом шаха персидскаго?

— Хуже, — отвѣтил я, хватая быка за рога, — я продал душу чорту.

— Нѣт! — с восхитительным раскатом, переходящим от ѣ к э, воскликнул директор, — скажи мнѣ скорѣе адрес и я сам побѣгу в этот

ломбард! Я печатаю объявленія в газетах, трачу состояніе, а он в это время вводит чорта в невыгодную сдѣлку. На кой ляд ему твоя душа, не холодная и не горячая, ко всему на свѣтѣ равнодушная, лѣнивая, неповоротливая, ничего не хотящая и ничего не желающая? Итак, кромѣ шуток. Вѣтра спрашивает мать, гдѣ изволил пропадать?

— Ѣздил в Антверпен.

Директор сдвинул шляпу на затылок и, сморщив нос, вставил в орбиту плохо протертый монокль.

— Ты видѣл Дениз?

— Я видѣл ея жениха, табачнаго принца. И взял с него отступного. Дал слово, что никогда больше не буду пытаться видѣть Дениз, навсегда исчезаю с горизонта, ухожу в смертную тѣнь и, вообще, больше его счастью не помѣха.

— Ну и сколько? — жадно спросил директор и придвинул локти на середину стола.

— Пять тысяч в мѣсяц пожизненной ренты. Плохое, скажешь, дѣльце?

— Ничтожество! — воскликнул он, с ненавистью глядя мнѣ в глаза, — мразь, торгующая чувствами! Альфонс! Дурак! Самая маленькая цѣна этому дѣлу — десять тысяч, а не твои бездарныя пять!

— Знаешь, — смиренно сознался я, — когда заглушаешь совѣсть вином...

— Смотрите, люди добрые! — воскликнул директор, — какой Навуходоносор, царь Вавилонскій, выискался! Он заглушает совѣсть вином! Какія бурныя страсти, шекспировская трагедія! Институточка в бѣлой пелеринкѣ! Вином ничего сдѣлать нельзя! Проспишься и снова ногти в сердцѣ. Совѣсть, плач души, заглуша-

ется только бурями искусства. Возвращайся в театр, в свой край родной, в свою стихію, садись за пюпитр, бери свою палочку и дѣйствуй. Будут врать скрипачи, гобои, тромбоны, — какая радость сдѣлать им отеческое внушеніе! Перемежка тактов, капризы ритма, запрещенныя голосоведенія, стихія звука, сплетеніе его красок и разновидностей, первая скрипка и маленькій барабанчик, очарованіе точно поданнаго вступленія, — вся эта волшебная работа в темном дневном театрѣ, электрическія пятна над пюпитрами, жизнь человѣческаго лица, подчеркнутыя морщины, круги под глазами, испарина на лбу, ослабѣвшіе узлы галстуков, глаза, напряженно ожидающіе твоего императорскаго указа, — что это тебѣ? Японская хурма?

— Ты — поэт! — с нарочитой и как бы сдающейся теплотой голоса сказал я и сразу увидал, как в глазах директора мелькнула хитрая мысль: «размяк, подлец. Сейчас я тебя прихлопну».

Но мышь понюхала приманку, обвила тѣльце хвостиком и присѣла в раздумьи.

— Все это так, и я люблю тебя, — продолжал я, разставляя свою сѣть. — Но вѣдь ты же жмот, ты всегда старался выжать меня, как вот этот лимон, и это недостойно твоего коммерческаго таланта. От тебя так и прет комбинаціями, Одессой, кафе Фанкони.

— Дорогой мой! Ну зачѣм эти кислыя слова? Мы всегда найдем точки соприкосновенія.

— Тогда выкладывай тысячу аванса.

— Помахай от так пальчиком тысячу раз, — и то устанешь, — уклончиво сказал директор. — И на что тебѣ деньги, раз теперь их у тебя куры не клюют?

— Деньги деньгами, а порядок — порядком.

Меня нерѣшительно окликнули сзади. Обернувшись, я увидѣл Петрова. Из своего обезпокоеннаго и блѣднаго лица он старался выкроить безпечную, свѣтскую улыбку. Он помахал мнѣ пальчиками, ухмыльнулся и фальшиво сладким голосом сказал: «Ваши друзья по вас соскучились». Петров был взволнован и это волненіе меня радовало. Я уже знал, что директор выдаст мнѣ тысячу и, если бы мнѣ были нужны сейчас сто таких тысяч, то, все равно, онѣ откуда-то пришли-бы. Я выигрывал у судьбы необычайно пріятную и напряженно-рискованную ставку.

— Ну ладно, — сказал директор и, округлив локоть, грузно залѣз в свой внутренній карман. — Пользуйся моей добротой и отсутствіем времени! — и командующим, хозяйским тоном добавил: — Но завтра, в час дня, в театрѣ! Двѣ вещи нужно транспонировать на полтона: у Васеньки послѣ свадьбы ослабла глотка и ля пропало. Думаю, что это явленіе временное. Бери! Расписки не требую! Вѣра в человѣка.

И когда я с этой тысячью подошел снова к своим друзьям, то мнѣ казалось, что уличные фонари, только что зажегшіеся, горят ослѣпительными солнцами, что трамваи звенят пудовыми колоколами, что на Раулѣ надѣт расшитый золотом костюм венеціанскаго посла, что за столиком сидит не кассирша Люль, а Джульетта. Весь мір преобразился и засверкал невиданными счастливыми красками. И только один Петров был мрачен: хмель, даже от шампанскаго, дѣйствовал на него угнетающе. Он смотрѣл из подлобья, как бык, собирающійся взять кого-то на рога. На висках у него пуль-

сировали толстыя, голубоватыя жилы, — и от этого казалось, что в голову Петрова забрались недобрыя мысли. Когда я расплатился и мнѣ на сдачу принесли цѣлую тарелку денег, Петров облегченно вздохнул, но не повеселѣл. Мнѣ уже было нерадостно, что я навязался еще с обѣдом и прогулкой по Булонскому лѣсу. Но у Люль ноги ходили под столом и, когда мы встали, она взяла меня под руку и Петров отошел в сторону, обиженно надувшись и издали сказал:

— Я становлюсь собакой, заболѣвшей насморком. Я — старая телятина. У меня до сих пор был один безспорный талант: чувствовать деньги на разстояніи. Сидя в кафе, я тайком обнюхивал вас и воздух не принес мнѣ запаха даже одного завалящагося сантима. Исторія с шампанским казалась мнѣ сумасшествіем. И это в то время, когда у вас в верхнем жилетном карманѣ лежала высшая бумага! Я — конченный человѣк. Отправьте меня на живодерню. Я ничего не сдѣлаю на этой землѣ под этими глупыми небесами!

Мы обѣдали, и я с любопытством смотрѣл на Люль, как она, с французским сладострастіем, втягивала в себя нѣжную зелень устриц. Свѣт фонаря пронизывал насквозь деревья и были видны насквозь всѣ ниточки листьев. Я давно уже не ѣл, как слѣдует, и мнѣ странным казалось обиліе рыбы и мяса, чистота судков, накрахмаленность салфеток и скатертей, нѣжныя корзинки для краснаго вина, запах хорошаго, обильно засыпаннаго кофе.

Автомобиль промчал нас в лѣс. Около озер мы слѣзли и пошли пѣшком. Пахло прѣсной водой, из ресторана на островкѣ слышался

змѣиный свист гавайских гитар. И, когда сѣли на скамейку, я взглянул на Люль. Она сняла берет, и, забыв обо всем, расширенными, чуть блестящими глазами, смотрѣла перед собой задумчиво и чисто. Была-ли в ней тайная молитва, прислушивалась-ли она к той будущей жизни, которую ей суждено было выносить и дать, но в ней, единственной среди нас, была слiянность с землей, с водой, с лѣсом, с сонными птичьими голосами, и, казалось, что молодой мѣсяц выплыл на правой сторонѣ неба только для нея. Иногда сзади нас тихо и уютно шуршали автомобили с двумя силуэтами у руля, прошел сторож с фонарем и собакой, и изрѣдка ударял крылом по водѣ заснувшiй лебедь.

Воспользовавшись молчанiем, Петров счел нужным сдѣлать ко мнѣ маленькое обращенiе.

— Когда напьются пьяными хохлы, они поют пѣсни, — сказал он. — Когда напьются пьяными великороссы, они ищут предлогов для драки.

— Дальше что — спросил я удивленно.

— Пушкин вѣрно замѣтил, что русскiе — лѣнивы и нелюбопытны, — продолжал Петров мрачно, — прiемлю смѣлость добавить еще одну нацiональную черту: мы неблагодарны.

— Слушайте, Петров, — возразил я, — вечер прекрасен, воздух легок и душист, всюду покой и тишина...

— Нѣт, чорт возьми! — вдруг разгорячился Петров, — вы на прекрасном вечерѣ не отъѣдете! Скажите пожалуйста, русскiе были благодарны создателям их великолѣпной имперiи? Русскiе не думали, что хлѣб и мясо падает им с небес? И какой-нибудь бородатый дядя, писавшiй в толстом журналѣ внутреннiя обозрѣ-

нія, обличавшій ежемѣсячно становых приставов и урядников, не казался нам выше и значительнѣе, чѣм человѣк, налаживавшій в это время денежное обращеніе? И потом эта проклятая склонность к критиканству. Возьмите войну, например. В штабѣ полка критиковали штаб дивизіи, в штабѣ корпуса — штаб арміи, в штабѣ арміи — ставку... И так далѣе, и так далѣе... Эх!

— Вы это, собственно, к чему? — спросил я, чувствуя, что в словах Петрова кипит тайная и недобрая, ко мнѣ подбирающаяся мысль.

— Я к тому, что в кафе я не понимал, для чего было поить меня и кормить? Я хочу расшифровать ваши тайныя цѣли. Вы думаете, я их не вижу? Вам понравилась Люль и вы, как старѣющій пес, обнюхиваете наше счастье...

Люль, услышавшая свое имя, насторожилась и сказала:

— Вы знаете, Пьерову нельзя пить. Он дѣлается шумным и безпокойным. Пьеров! Идем! Мы еще успѣем на метро.

Оставшись один, я просидѣл у озера до утра и увидѣл, как на разсвѣтѣ отчаливали от ресторана плоты с нарядными и веселыми людьми, слышал возбужденный женскій смѣх и медленный плеск весла. Вынув головы из под крыльев, проснулись лебеди и спросонку удивленно посмотрѣли вокруг себя. От перваго вѣтра шелковисто поморщилась вода. Как камень, свалился с дерева воробей, упал на берег, укоризненно взглянул на меня и рѣшительно выкупался в пескѣ.

XXIV.

Р а й.

Сдержанная, высокоторжественная поступь, гордый поочередный подъем передних ног и шалнеры мускулов, шелковистый блеск шерсти и почти шпорное цоканье серебряно-желѣзных подков, чувство ритма и раздувающіяся ноздри, спортивно-задорный удлиненный глаз, боковой скат гривы, послушное пониманіе возжей, гамма перехода от шага в рысь и от рыси в шаг, — сколько было в этом прелести и очарованья!

Силуэт кареты, высоко поставленной на колеса из легкаго обруча с тонкими лакированными спицами и конус от блеска в них, фонари с подрубленным в краях зеркальным стеклом, выгиб рессор, рисунок кронштейнов, на которых утверждалось кучерское сидѣнье, — все это исчезло.

На козлах священнодѣйствовали подтянутые и спокойные кучера, дружившіе со своими лошадьми, с которыми их связывал особый язык, взаимное пониманіе, ласка и уваженіе. Близость и общеніе с звѣрьми накладывало на них особый отпечаток, как близость к деревьям и цвѣтам накладывает особый отпечаток на садовников.

Конь иначе ходит по городу, и иначе — по лѣсу. В лѣсу он чувствует наслажденіе от запаха трав, среди которых у него есть любимыя и цѣлебныя, от воздуха, от хруста валежника, от мягкости дороги, — и это наслажденіе гипнотически передавалось ѣздоку.

Автомобилист, взяв карету, приплюснул ее к землѣ, испортил тупоносым футляром спереди

и сундуком сзади, толстыми колесами и грубо, по макароньи, надутыми шинами. Автомобиль раздул чертово кадило бензина, напоминающее трупный запах и поѣдающее не только листву и травы, но и легкія. Кучера он превратил в шоффера, в нерьное измученное существо, которому, послѣ шести часов вечера, люди кажутся только точками, которых запрещено давить. Вонью и глупой скоростью автомобиль оскорбляет чинный, одухотворенный облик Парижа, который дѣлается похожим на себя только перваго мая, в день забастовки. Автомобиль оскорбляет Булонскій лѣс, который похож на себя только в ранній утренній час, когда воздух очистился от трупнаго запаха и людей нѣт.

Тишина. То время утра, когда, по наблюденіям русских воров, особенно крѣпко спит купец. Лебеди, разбуженные шумом плота, осмотрѣлись вокруг себя, поняли, в чем дѣло и опять вправили головы в середину теплых, слегка распущенных крыльев. Выкупавшійся воробей, увидав, что солнца нѣт и можно спать еще, взлетѣл на вѣтку, умышленно выбрав самую тонкую: она его покачала, затуманила голову дремой, он нахохлился, принял сердитый вид, из прилизаннаго стал лохматым и втянул шею в спину. Все это прозрачно и туманно, как на переводных картинках. Я скорѣе догадываюсь, чѣм вижу, но, вот, начинаются перемѣны: солнце уже гдѣ-то забуравило, но свѣт поступает в тьму только малыми каплями, как вино в воду. Темнота начинает отлипать от земли и воды, превращается в медленно-движущійся туман. Капли начинают учащаться и вот я вижу кружок сосен, которые стоят, как свѣчи на церковном ставникѣ. В их стройности и худобѣ есть отрѣшенность и над-

земность. Может быть, это монахи растительнаго царства. Вижу наполовину скошенную лужайку: стоят маленькіе и еще не завядшіе стожки. Вода в озерѣ налита вровень с берегом, видно, на разстояніи метра, постепенно опускающееся в яму дно. Посреди озера — горка маленькаго острова и уже различимы медальоны клумб.

Холодно, я зябну, тѣло уже не вырабатывает тепла, на руках — пупырышки ѳзноба. Глаза закрываются сами собой, я знаю, что вот ко мнѣ подошел устроитель снов и все поэтому волшебно вокруг меня перестраивается. Озеро он удлинил в рѣку; по рѣкѣ пустил странные, длинные, волжскіе плоты; на плотах посадил в качалках людей, которые читают газеты, напечатанныя крупным аршинным шрифтом. Я понимаю замысел и с любопытством думаю, что дальше даст мнѣ он, этот великій поэт и маг, творец сонных зрѣлищ, что выдумает он для меня, чтобы забыть холод и жесткую скамью? Вижу: сзади плотов идет яхта, вижу на кормѣ буквы: Bel-Ami. Значит, гдѣ-то в рубкѣ там спит Мопассан. Это хорошо. В далекія времена это яхта пристала к берегам Ялты, и Мопассан отправился в Ливадію за виноградом, разрѣшив мнѣ на ней покататься, и матрос, старый Бернар, однажды, лихо, на парусах, старавшихся оторваться от дерева, домчал меня до Ласточкина гнѣзда, и сказал мнѣ, что черноморскій іюльскій вѣтер слегка напоминает итальянских сорок братьев. Я тогда дал Бернару золотой пятирублевик и он спрятал его себѣ под шапку. Теперь на кормѣ никого не видно: яхта — таинственна и я долго смотрю ей в слѣд: она оставляет на водѣ серебряный хвост, почти лунный.

Устроитель снов начинает измѣнять пейзаж и сосны превращаются в пальмы и я думаю, что в пальмах есть что-то непричесанное. Прыгают по деревьям знакомыя обезьяны, в этот час, вѣроятно, отпущенныя из бродячих ярмарочных звѣринцев. Я легко узнаю Огюста, Боби и маленькаго Гастона. Обезьяны спрашивают: есть-ли у меня орѣхи? Я отвѣчаю, что нѣт и обезьяны обиженно отворачиваются, по женски надувая губы.

По дорожкѣ идет мой отец. Он — в шелковой чесучевой жакеткѣ, панцырная часовая цѣпочка полукругло спускается от пуговицы до карманчика. Я знаю, что мой отец умер, двадцать лѣт тому назад, но то, что он сейчас ходит по этому лѣсу, меня не удивляет. Странно: мнѣ даже неинтересно, подойдет ли он ко мнѣ? Невидимая рука подает мнѣ кружку и я пью что-то миндальное и пріятно сладкое, как сок мороженаго. Отец садится возлѣ меня, достает часы, открывает заднюю крышку и маленьким старинным ключиком начинает заводить механизм. На этой крышкѣ, красивыми прописными буквами, вырѣзано, что часы работы братьев Чекуновых, механизм на двадцать одном камнѣ, завод ремонтуар и потом стоит шестизначный номер. Если поднять еще одну крышку, то увидишь таинственную всегда обольщающую внутренность: колеса, дышащій волосок, пластинки, — все очень нѣжное.

— Слушай, — говорит отец, и я радостно узнаю голос, тембр котораго давно забыл: — я пришел утѣшить тебя.

— Я ничѣм не опечален, сказал я.

— Нѣт, ты опечален, — отвѣтил отец: — но печаль твоя еще не поднялась до твоего со-

знанія и я хочу это сдѣлать раньше, чѣм она поднимется. Ты не виновен в том, что я передал тебѣ душу не холодную и не горячую, ничего не хотящую и ничего не желающую, как правильно сказал в разговорѣ твой директор. Но вѣдь и я не виноват, что сам получил ее такою от дѣда. Это наша общая россійская душа. Ты меня понимаешь? На безкрайнія степи, на Брынскіе лѣса только такая душа и может быть отпущена. В этом есть большой смысл.

— Я тебя плохо понимаю, — отвѣтил я и добавил: — спать хочу.

— Мы с матерью очень соскучились по тебѣ, очень, — сказал отец печально, — шел бы к нам скорѣе...

— А кому же здѣсь оставить нашу душу?

— А вот прислушайся, — отвѣтил отец таинственно.

И вдруг в ушах моих зазвенѣл длинный и протяжный мелодическій звон.

— Вот видишь, тебя вспомнили в предразсвѣтный час,— сказал отец,— и тому, кто вспомнил, оставь свою душу. А потом приходи к нам. И я и мать очень скучаем.

— Вы хотите моей смерти? — спросил я.

— Неправильное слово, бездарное,— отвѣтил отец,— правильно сказал Беранже «в темный ящик гроба души моей одежды сброшу я». Понял?

Так когда-то отец объяснял мнѣ алгебраическія задачи и спрашивал: понял? И тут случилось неожиданное: отец слово в слово начал наизусть цитировать то, что у меня написано в памятной книжкѣ.

— Каждое слово,— говорил он вспоминая,— имѣет одежды праздничныя и будничныя. В

прозѣ слово — в одеждах будничных, в стихах — в праздничных. У Пушкина, у Шекспира, у Гете — слово в одеждах коронаціонных — тѣх, что хранятся под стеклами и вынимаются раз в триста лѣт. Пушкин любил печеный картофель. Пушкин говорил, что злы только дураки и дѣти.

Я усмѣхнулся и это отца обидѣло. Он вынул из кармана старыя, хорошо мнѣ памятныя, кожаныя перчатки с отпечатавшимися ногтями и начал медленно надѣвать их, разглаживая пальцы. Подул странный аромат, в котором можно было отличить три основных струи роз, фіалок и царскаго вереска. Опять в обратном направленіи проплыл пустынный Bel-Ami. Мопассан, видимо сладко спит, и я думаю: не из купцов ли он?

Отец встает со скамьи, дѣлается призрачным, ноги его удлиняются, как цирковыя ходули. Он идет по озеру, на островкѣ огибает клумбу с тюльпанами и я вижу, как его лицо измѣняется в лицо дѣда. Я понял, что упустил момент и не разспросил о матери, о братѣ, о том, правда ли, что новопреставленныя души ходят по сорока мытарствам, страшен ли суд, правильно ли понимается на землѣ грѣх и добро, и правда ли, что все, вольное и невольное, взвѣшивается на вѣсах?

Кто-то трогает мое плечо. Открываю глаза: передо мной стоит молодой человѣк во фракѣ и цилиндрѣ, пьяный. Сначала я подумал, что это — устроитель снов, потом, что это граф Данило из «Веселой вдовы», потом мозг наладился, машина пошла правильно, подневному, и я понял, что это — отставшій от компаніи, которая кутила на островкѣ.

— Я думаю, что вы — завѣдывающій озером, — сказал мнѣ молодой человѣк, изысканнѣйше приподнимая цилиндр, — разрѣшите выкупаться.

— Нельзя! — отвѣтил я сурово.

— Почему?

— Потому, что вы — человѣк. А здѣсь — рай, из котораго вы изгнаны.

По пьяному лицу разлилось недоумѣніе.

— Почему же лебедям вон не запрещено? — обиженно спрашивал он: — уткам не запрещено? Селедкам не запрещено?

— Вы же не полѣзете купаться во фракѣ? — наставительно спрашивал я, — а вид человѣческаго тѣла оскорбляет человѣческое зрѣніе.

— Как это глупо! Глупистика! — отвѣтил он послѣ раздумья, и, покачившись, добавил: — попрошу моего отца сдѣлать о ваших дѣйствіях запрос в палатѣ. Он вам докажет, что это — не рай, вы — не апостол Петр и я — не хуже селезня. До свиданья! — добавил он, иронически приподнимая свою шляпу.

— До свиданья! — отвѣтил я, не менѣе иронически приподнимая свою шляпу.

Все было одѣто свѣтом перламутроваго оттѣнка, предварительным. Павлиній хвост распустился до половины неба. Потом, уголком показался и сам он, свѣтлый глаз, и постепенно, один за другим, свернулись, как в вѣерѣ, лучи. Все примолкло — и вдруг повѣяло первое дуновеніе легчайшаго тепла: все встрепенулось, запѣло, запищало, заскакало, закрякало. Ко мнѣ подплыл старшій лебедь и, сурово взглянув черным глазом, безмолвно потребовал пищи.

XXV.

Осетровая солянка.

Один из знаменитѣйших петербургских поваров Федор Зест, в ялтинское, уже почти эмигрантское сидѣніе, в эпоху перекопских боев подробно объяснил мнѣ, как заправляется осетровая жидкая солянка. Зест, кромѣ того, объяснил мнѣ такія странныя вещи, что бульон, например, не питателен, но успокаивает; что слово спаржа значит холодок, ибо она растет в холодкѣ; что бифштекс нужно дѣлать из той части, которая не работает; что удача борща заключается в той послѣдовательности, с которой в него кладутся овощи, и что, в качествѣ мяса, его обязательно нужно варить на грудинкѣ и класть мозговую кость; что черныя маслины — хороши для больных печенью; что шашлык нужно мариновать в уксусѣ с перцем; что свѣжая икра и устрицы цѣликом усваиваются организмом и так далѣе.

Расплатившись с Луи и Гастоном, содержателем отеля, я рѣшил отпраздновать конец своей нищеты обѣдом для моей святой троицы, как я без всякой ироніи звал моих стариков. Я не особенно цѣню святость, пріобрѣтаемую в условіях монастыря, в отдаленіи от міра и соблазнов. Для меня высока святость, которую можно сохранить, живя в чревѣ такого, например, города, как Париж. И эти три старика, давая мнѣ ѣду и крышу без всяких условій, смутно надѣясь на плату в каком-то неопредѣленном будущем, казались мнѣ тѣми праведниками, из за которых могли сохраниться даже Содом и Гоморра.

Мысль об обѣдѣ сначала особеннаго восторга не встрѣтила, но когда я сказал, что хочу сам изготовить русское національное блюдо, хоть и не перваго (первое — борщ), но все-таки значительнаго порядка, старики заинтересовались и навострили уши.

— Слушай, ты очень многим рискуешь, — сказал мнѣ Луи внушительно: — ты твердо держи в своей Сорбоннѣ, что мы, вѣдь, бургундцы и понимаем толк в ѣдѣ. Не забывай, что это именно наш геній, который приготовил лучшую горчицу в мірѣ и первый, по настоящему, замариновал лук. Потом, наш пряник...

— Ваш пряник! — осадил я Луи пренебрежительно: — большое дѣло, ваш пряник! Я, например, в рот не могу взять вашего пряника! Если бы ты попробовал нашей муромской рябиновой пастилы или калужскаго тѣста, так живо бы примолк с вашим пряником. Осетрину знаешь?

— Слышал так отдаленно, но думаю, что если бы это было что нибудь путное, то в Дижонѣ знали бы, — отвѣтил Луи не без ехидства.

— Отстал твой Дижон!

— Что ты этим хочешь сказать? — спросил Луи, подняв нос и глядя через старомодныя, продолговатыя очки.

— Во всяком случаѣ ничего обиднаго.

— То-то!

Луи, слегка обезпокоенный, пошел на совѣщаніе со своим хозяином и совѣщался долго. Так как осетрина — рыба, то кутеж был назначен на ближайшую пятницу. Относительно напитков пришлось выработать компромисс. Аперитивы были отклонены и принималась русская водка, но за то бѣлое вино замѣнялось бургунд-

ской вѣтряной мельницей. Это было неграмотно, но тут старики уперлись, как ослы. В качествѣ предлога, конечно, неосновательнаго, они выставили то, что от бѣлаго вина у них идет песок.

У Прюнье мнѣ дали большой, с легкостью масла отрѣзанный, похожій на скобки, кусок осетроваго филея, нѣжно оранжевый, с разводами, с хрящем и тѣм жирком, который сварившись, принимает окраску янтаря. Потом я достал бѣлаго, без закраснѣвшейся оболочки, луку, нѣжной моркови, отличных, упитанных греческих маслин и банку замаринованнаго лондонскаго хрѣна. Было заранѣе жаль, что старики, навѣрное, не поймут, как и всѣ, впрочем, европейцы, сладости чистаго, градусов на сорок пять, растворенныго алкоголя. В Европѣ, и, в особенности, в Америкѣ любят мудрить и к табаку, например, примѣшивают все, что убивает его естество: мед, опій, и другія душистыя травы. К алкоголю примѣшивают анис, мяту, экстракт апельсиновых корок, что всегда портит первобытную хлѣбную слезу.

Когда я явился на кухню, Луи начал навязываться мнѣ в помощники. Чтобы он не узнал моего несложнаго секрета (такіе секреты всегда разочаровывают и театральная, например, публика очень не любит, когда автор, хитро завязав узлы пьесы, в третьем актѣ показывает их несложность), пришлось его выгнать и запереть дверь на щеколду.

Странно бросать в воду кусок тѣла, еще нѣсколько дней тому назад живого, знатнаго, привыкшаго к подводным сложностям и опасностям, выросшаго в толстых полтора аршина, серебристо-прекраснаго, украшеннаго по хребту, как пуговицами, хитрыми, художественно-разри-

сованными щитками, рыцарски-воинственнаго и несомнѣнно аристократическаго. В осетрѣ, как в пѣтухѣ, как во львѣ, есть настоящее, прямое, повелительно-гордое начало. Я обложил его тонко нарѣзанной морковью, потом — колечками лука, засыпал солью и когда все это дало первый сок, залил водой. К сожалѣнію газ, сжигающій ядовитыя вещества — не русская плита на березовых дровах. Аромат березы не проходит безслѣдно для кухонных достиженій, как увы, не проходит безслѣдно и газовая нечисть.

К половинѣ восьмого подъѣхал Гастон, раскутившійся на автомобиль. Он так и явился, как и засѣдал в своем бюро, т. е. в мягких черных туфлях на шерстяных подошвах и в шелковой, потускнѣвшей шапочкѣ. Мнѣ показалось, что с того свѣта явился Клемансо.

Старики давно не видались, и встрѣча была трогательная. Со всѣх сил они лупили друг друга по плечу, смотрѣли глазами в глаза, и сыпали восклицанія: старый дьявол, лысая капуста, разновидность непристойной вещи и т. д. Была отдана команда — закрыть кафе.

Я слышал, как Луи загремѣл в буфетѣ бутылками и во время изловил его. Дѣло в том, что он вгорячах забыл о компромиссѣ и хотѣл сервировать всякія варіаціи (конечно, с кассисом), но я сказал, что если это начнется, то суп и рыбу съѣдят за окном коты. Старики сначала воскликнули ю! — но потом присмирѣли. Я приказал Луи выставить на стол самыя маленькія ликерныя рюмки. Луи плохо понимал совершающееся и только недоумѣнно вздергивал правым плечом и сожалѣтельно говорил: бон! В этот вечер он проявлял ко мнѣ легкую недоброжелательность.

Я видѣл, как он иронически накрывал стол, как в послѣдній раз вытер глубокія тарелки с видом дижонских кафедралей, как дѣлал из салфеток пѣтухов, как ставил в горячую воду толстыя бутылки, в каких у нас продавалось кахетинское, с дном, похожим на стакан, как снявши капсулю с рельефной виноградной кистью, старики нюхали пробку и кивали в мою сторону, явно считая мою затѣю легковѣсной.

Но вот соль и закипѣвшая вода сдѣлали свое первое дѣло, осетр начал ерзать по дну кастрюли, пошел пар и послышался душистый, комбинаціонный аромат. Можно было пріоткрыть кухонную дверь. Старики шептались, как оперные заговорщики, и я понял, что они хотят огорошить меня какими-то сюрпризами. Гастон вертѣл в руках книжку, загибал листы и таинственно что-то объяснял.

Но вот аромат проник в их комнату, носы стариков шевельнулись и обратились в мою сторону. Эта минута показалось мнѣ началом почтительности. Было что-то в родѣ молчаливаго прислушиванія и оцѣнки. Началось пробужденіе голода, заработали сосочки желудка, подступила слюна, стали обсыхать губы и по ним уже было необходимо пройтись языком.

Движенія Луи стали нервными и проворными, в бесѣдѣ появилась сбивчивость, от проглатыванія слюны кадыки ходили взад и вперед и старики прибѣгли к предохранительному средству: посолив хлѣбный мякиш, они с наслажденіем покатали его между зубами и глоткой.

Вода бьет над осетром маленьким смерчем, язычки пламени то высовываются, то прячутся под кастрюлей. Осталось выполнить послѣднюю задачу — так разварить рыбу, чтобы ее можно

было грызть даже деснами. Мое присутствіе на кухнѣ не так уже необходимо. С видом строгаго жреца я выхожу в столовую, и развожу рацею о том, что, так называемая, высокая земледѣльческая культура — тоже палка с двумя концами, что обиліе искусственных удобреній огрубляет землю и именно на этом высшія французскія произрастанія потерпѣли важный ущерб: гдѣ прежній знаменитый вкус французскаго винограда, груш, овощей, зелени и то ли дает русская, итальянская или турецкая, первобытно сохранившаяся земля?

Старики смотрят на меня с сочувствіем знатоков, поправляют неправильные падежи и вдруг случается неожиданное. Гастон, отчаянно картавя и с удареніем на послѣдних слогах, спрашивает меня порусски:

— Вы как желяете стричь-ся? Ежик? Бобрик? Под польку? Вас бритв не безпокойт?

И прибавляет пару отмѣнных русских ругательств, ласкающих слух и очищающих атмосферу.

— Ви знайт Невски проспект? — спрашивает он: — ви знайт дом нюмеро сто чичирнадцать?

От изумленія я не могу сказать ни слова, а старик все спрашивает:

— Ви отморозил ваш нос? Почему не берете гусиній сал? Вармолофей! Подай мнѣ бистро ножнис нюмеро третій, я подстригу господин немножк уси...

Гастон преобразился, как актер, вышедшій на сцену. В правую руку у него были вложены невидимыя ножницы и он, склонившись, изобразив на лицѣ парикмахерское вѣжливо-осторожное усердіе, стриг чей-то незримый затылок.

Старческая, опустившаяся по бульдожьи кожа щек вяло шевелилась, морщинки вокруг глаз наполнились хитрым свѣтом, язык и губы выговаривали русскіе слова, двигались по непривычным, забытым направленіям. Луи почему-то смѣялся до слез, присѣдая и хлопая себя по колѣнным чашечкам.

— Какой бил страна, какой бил льюди, какой grandeur двора. И если твой отес, да, си, твой отэс один раз биль Сан-Петерсбур, я стриг и твой отэс, потому что coiffeur Gaston знал вся Руссій! Да! Си! Знал вся Руссій! Я чичирнадцать лѣт биль на Руссій! И только пять годочков до война пріѣхал Пари немножко здыхайть и покупайть себѣ маленькій угол на дижонски симетьер.

Гастон говорил с тѣм повышенным энтузіазмом, которым была славна старая французская театральная традиція.

Я спросил пофранцузски:

— Значит, ты знаешь, что такое осетровая солянка?

Гастон гордо усмѣхнулся и отвѣтил:

— Ачуевская икра, керченская селедка, ладожскіе сиги, астраханскіе арбузы, пожарскія котлеты, гурьевская каша, варенники с вишнями, — все знает Гастон!

И потом, сдѣлав шпіонское лицо, добавил порусски:

— Ти забил класть в свой потаж немножко тмин и немножко лавровій лист. Сдѣлай это поскорѣй, чтоб эти пара старій фэс потом не смѣяльси над твой потаж.

Я похолодѣл, хлопнул себя ладонью по лбу и полетѣл в мелочную лавку. И когда торговка отсчитывала мнѣ мѣдяки на сдачу, снова в ушах

моих зазвенѣл протяжный и нѣжный звук. Кто вспоминает меня? Кому я нужен? Что еще хочет войти в мою странную, призрачную жизнь?

XXVI.

Французик из Бордо.

Солянка удалас наславу, рыба разварилась отлично, лук, тмин и лавровый лист придали ей нѣжность и пряность, греческія маслины были жирны и глянцевиты, а ломтики лимона, плававшіе на поверхности, придавали ѣдѣ соблазнительный вид. Старики, набрав в рот бульона, прислушивались к нему, как прислушиваются во время пробы к неизвѣстному вину, а потом, на разгонѣ, одолѣли по двѣ тарелки, покрылись испариной и вытирали виски углом салфеток. Водку же только один Гастон пил по правилу, запрокидывая голову и потом в теченіе нѣскольких секунд, глядя на потолок.

Покончив с солянкой, дижонцы призадумались и не стали ѣсть ни сыра, ни салата. Это я истолковал, как великую похвалу. Луи, послѣ молчанія, сказал:

— Браво три раза. Ѣда с удовольствіем это большое благо.

Ему отвѣтил Гастон.

— А если бы тебя, — сказал Гастон, — посадить в маѣ мѣсяцѣ на волжскій пароход, да дать бы тебѣ свѣжих ярославских огурцов, намазанных икрой, или уху из стерлядей, а на закуску ломтя два бѣлорыбьяго балыку, так ты бы поклонился дьяволу и продал бы душу, — и потом добавил по русски: — они, оба двѣ, прелестній ребьята, но, все-таки, набитій шу-

шель. Носятся с Дижон, как маленькій Мартиночка с мылом. Однако, давай немножко молшать и дижестировать.

И, сидя у стола с неубранной посудой, старики сложили руки на животах и, предавшись забытью, начали дижестировать. В этом было что-то комически-молитвенное. Лица их покрылись румянцем, в полузакрытых глазах разливалось осовѣлое довольство, и даже самые крѣпкіе пальцы, большіе, потеряли упругость. Мы разстегнули жилеты и сразу почувствовали холодок, потянувшій из окна. За этим окном, в палисадникѣ, рос отцвѣтшій куст сирени, виднѣлись слабые, городскіе бутоны роз и какая-то невѣдомая мнѣ высокая трава.

Минут через пять первым очнулся Луи: он встал и мы посмотрѣли на него, как на мученика. Он включил штепсель электрическаго кофейника, и снова, с видом страдальца, сѣл на свое мѣсто. Заработал таинственный ток и кофейник начал то пофыркивать, то посвистывать. Потом пронеслось первое дуновеніе восточнаго прянаго аромата, и ноздри стариков снова, по знакомому, шевельнулись.

И, вдруг, открыв правый глаз и став похожим на перса, Гастон сказал, обращаясь ко мнѣ:

— А знаешь, кто виноват?

Я ничего не понял.

— Ты не думай, — продолжал старик, — Гастон — только парикмахер Гастон. Я не только рѣзал вшей, а я не мало и в Сорбоннѣ высидѣл. Почему пошел в парикмахеры, а не в адвокаты или во врачи? — Это — дѣло вкуса, если хочешь — философія. Парикмахер это — проще, неотвѣтственно, свободно и в этом есть своя капелька искусства. Я старый холостяк, у

меня наслѣдства тысяч на сто, а в Россіи были мадемуазель Машенька, потом мадемуазель Глашенька, потом мадемуазель Сашенька. Здѣсь я тоже не зѣвал, и жизнь провел интересную и эгоистическую, потому что чего же требовать от паркмахера? Всякая фантазія имѣет своего барона, не так-ли?

— Так, — отвѣтил я, ничего не понимая и не особенно стараясь понять: меня интересовал сам старик, его поочередно открывающіеся глаза, нависшія, как у Клемансо, брови, шелковая шапочка и пульсирующая на вискѣ жила.

— Вот тебѣ умная книжка, — говорил Гастон, доставая из под кресла книгу, которую перед обѣдом я уже замѣтил в его руках: — это ошень умный шеловѣк, Иван Яковлевич Руссо, — добавил он по-русски и, отмѣтив ноггем какое-то мѣсто, сказал: — читай, читай вслух и не так, как пономарскій, а с шуств, с толк и с маленьки разстановошка.

Посмотрѣв на заголовок, я увидѣл, что это был «Contrat Social».

— Pierre avait le génie imitatif, — читал я: — il n'avait pas le vrai génie, celui qui crée et fait tout de rien. Quelques-unes des choses qu'il fut étaient bien, la plupart étaient déplacées. Il a vu que son peuple était barbare et l'a voulu civiliser quand il ne fallait que l'aguerrir... Il a d'abord voulu faire des Allemands, des Anglais, quand il fallait commencer par faire des Russes.

— Стоп, коняжка! — сказал Гастон: — вот в чем коренная ошибка Петра! Он дѣлал из вас нѣмцев и англичан, но не дѣлал из вас русских! Как ясно видѣл все этот умный человѣк Иван Яковлевич!

Луи раздал нам кофе в маленьких фальшивых японских чашечках.

— Один петербуржец говорил мнѣ, куафферу Гастону: «в моем желудкѣ зарыта собака моей болѣзни». Так вот тебѣ сейчас говорит куаффер Гастон: «в этих искусственных нѣмцах и англичанах царя Петра зарыта собака вашего теперешняго горя». Послѣ Петра русским надоѣло быть нѣмцами и англичанами и они, уже сами, передѣлались во французов. Это все видѣл я, Гастон, из своего окна, на Невском, в домѣ сто четырнадцать.

Гастон хлебнул кофе, обжегся и пососал усы, ставшіе коричневыми.

— Если русскій аристократ, бывшій боярин, плохо говорил по-русски, то это был большой шик. Если русскій аристократ, бывшій боярин, плохо говорил по-французски, то это был большой позор. Русскій аристократ, очень часто, говорил по-французски лучше француза, и это было смѣшно. Обезьяна может провести прямую линію лучше художника, но вам, все таки, смѣшна ея серьезность, с которой она это дѣлает. До Петра была русская великая нація, послѣ Петра стал салат. Это говорит правду француз Иван Яковлевич. В Санкт Петербур я был очень модный куаффер. Гастон — ci, Гастон — là. Со своими ножницами и щипцами я прыгал по всѣм лучшим лѣстницам. Боже мой, какіе я видѣл дворцы, какіе дома, какія статуи, какія люстры, какія картины! И я видѣл, что хозяин или хозяйка всегда боятся потерять мое уваженіе, потому что я — француз. Всегда говорили: «ах, куаффер-француз это — Бог, куаффер-русскій это — ничто». Клянусь Богом, что я тайно ходил учиться у русских куафферов, — это часто биль такой майстер, такой майстер! Это быль смѣшно и, когда у меня находилось

свободное время, я смѣялся до пяти часов утра! Чтобы имѣть успѣх в Россіи, нужно было, прежде всего, не говорить по-русски. Если вы не говорили по-русски, то для вас открывались всѣ двери! Если вы говорили по-русски, то вам падала цѣна пятьдесят процентов. Я говорю неправду? Нѣт, я говорю правду, куаффер Гастон!

И Гастон снова перешел на русскій язык:

— Ми, петерсбургски француз, имѣл свой маленькій, совсѣм маленькій клюб. Модист, куаффер, так себѣ маленьки дамочка, имѣющія всегда при себѣ свой маленькій товар, третій актер из Театр Мишель, — ми всѣ собираль и гоготал, гоготал над этой Россій! Мы понималь свой ясни галльски ум, что это страна, это пэи, имѣет свой плохой дестине!

Странно: когда Гастон переходил на русскій язык, то он и французскія слова произносил с легким русским акцентом.

— Ми понималь, что голова воняет с рыбки. Старій русски бояр, который имѣл свои длинни, до самый живот, борода и свой длинни, до самой пятки, шуб, был интересній. И когда царь Петр рѣзал ему борода, бояр плакал, и мнѣ ему жаль куаффер Гастон. Это был правильни бояр. Новый русски бояр, который говорил по-французски и не говорил по-русски, был неправильни бояр. А теперь, через три сотенки лѣт, мужик хотѣл себѣ весь земля? Это только так кажется, что он всего этого хотѣл. Это внѣшній, — и Гастон закончил по-французски: — Послѣ трех сот лѣт петровскаго салата вам тайно и безсознательно захотѣлось стать снова націей. И вот вся разгадка вашей земли и свободы, разгадка ваших революцій. И это нужно по-

нять и претерпѣть. Вам снова хочется пустить до живота бороду, надѣть парчевую шубу и с Невскаго проспекта, из дома номер сто четырнадцать, выгнать шустраго парикмахера Гастона.

Луи вынул из шкафа небольшую шкатулку, поднял крышку и, под стеклом, мы увидѣли музыкальный валик, весь в иглах. Луи покрутил ручку завода и, среди наступившаго молчанія, вдруг послышалась мелодія Люлли. Мнѣ показалось, что это вызванивают маленькіе фарфоровые колокольчики. Валик медленно крутился и одна мелодія смѣняла другую.

— Восемьнадцатый вѣк, — сказал хозяин кафе.

И когда я почувствовал, что уши, уже давно оглохшія и истлѣвшія, слушали этот маленькій и очаровательный вздор, мнѣ вдруг стало жаль прошлаго. «Эх, начать и жить сначала», вертѣлись в головѣ кольцовскіе стихи: — «да, не взойдет солнце с запада».

Когда мы с Гастоном пріѣхали домой, была уже полночь. Ни мнѣ, ни ему спать не хотѣлось.

— Давай посидим в бюро, помолчим, — сказал он и принес какую-то толстую бутылку с сургучем, прилипшим к горлышку. Горѣла лампа под зеленым абажуром, было тихо и казалось, что мы сидим не в Парижѣ, а километров за сто от него. Сразу стало замѣтно, как толстая жила на вискѣ Гастона вздулась еще больше: «это дѣйствует алкоголь», подумал я. И руки, спеціально парикмахерскія руки с полукруглым указательным пальцем, чуть замѣтно дрожали. Ему было жарко, он разстегнул ворот,

и показалась сѣдая, но твердая и костлявая старческая грудь.

В половинѣ перваго в бюро постучался неизвѣстный молодой человѣк и, смущенно глядя на меня, спросил:

— Свободныя комнаты есть?

— Есть, — отвѣтил Гастон.

— Мнѣ бы только до утра...

Гастон посмотрѣл на меня усталым глазом и сказал:

— Будь другом, мнѣ очень трудно сейчас ходить по лѣстницѣ. Покажи им... Вы вдвоем?

— Да, вдвоем, — смущенно отвѣтил молодой человѣк.

Я пошел впереди, за мной — молодой человѣк, а за ним постукивали легкіе женскіе каблучки. Я не обернулся, но остро слышал шорох платья, взволнованное дыханіе и запах каких-то очень знакомых духов. «У кого были такіе духи?», — старался я вспомнить, не мог и это волновало.

В номерѣ четвертом я зажег свѣт под розовым шелковым колпачком, задернул занавѣски и потом, принимая деньги, нечаянно взглянул на женщину и чуть не крикнул:

— Дениз!

Через двѣ секунды я уже ясно видѣл, что это — не Дениз, а простенькая, милая, с прекрасными темными глазами, совершенно неизвѣстная мнѣ дѣвушка. Но первая секунда, обманувшая, показалась мнѣ часом, и я полностью испытал всю ту муку, которую испытывает, вѣроятно, живое сердце, когда в него вонзают длинную, раскаленную иглу.

Виноваты были духи. Ясно вспомнилось, что их я слышал в Антверпенѣ.

XXVII.

Огни, зеркала и касса.

Отец, явившійся мнѣ во снѣ, сказал, что у меня на сердцѣ лежит печаль, но она еще не поднялась до сознанія. Может быть, печалью он назвал любовь? Странны и безпокойны эти звоны в ушах; мельканіе женскаго образа; память, кротко странствующая в Антверпен и возстанавливающая безконечный прямой дождь, свѣчи на роялѣ, огонек, раскачивающійся от моего дыханія, нотные листки, к которым я с тѣх пор ни разу не прикоснулся. Вообще на музыку нужно поставить теперь крест. Опера? Симфонія? Квартет? Кто возьмет их из рук какого-то дирижера из какой-то мюзик-холльной труппы лилипутов? И я боюсь коснуться этих пятилинейных антверпенских строк: а вдруг на их фонѣ появится видѣніе не пиковой, а червонной дамы с театральной призрачностью полудѣтскаго, нѣжнаго лица, с грустью слегка неправильно поставленных глаз, с трогательно нѣжной кожей висков, с соблазнительно-обманчивой худобой тѣла? Червонная дама династически вышла замуж за короля табачных издѣлій. Никотин превращается в золото и жемчуга, и на брачном пирѣ несомнѣнно гремѣл свадебный марш Лоэнгрина. В свое время я не внял мудрым совѣтам директора, был грушей и теперь ясно слышу, как ядовитый, темно-сѣрый туман ползет полосами из сердца в сознаніе. Скажем словами мудраго директора: «это никому не нужно» и, по старинному рецепту, в поздній вечерній час выйдем на улицу.

Я говорю «мы», потому что с нѣкоторых

пор я — не один и не знаю, во мнѣ ли или около меня, безплотной тѣнью, живет образ, вѣчно и утомительно мнѣ сопутствующій. Вот мы вмѣстѣ идем по улицѣ, видим закрытыя лавки и темныя окна, но свѣжій и прозрачный послѣ дождя воздух не несет успокоенія и кажется, что мір отстранился от нас и стал далеко. Полоса звѣзднаго неба, видимаго из узкаго коридора улицы, существует не для нас, а для других счастливых и спокойных людей, отошедших от нас тоже далеко. В двух шагах от нас плещется фонтан святого Михаила, но звук воды слышится издалека. Мы переходим мост и видим, что Сена провалилась в необозримыя глубины. Улицы — безконечны, но вот мы замѣчаем странную вещь. Из метро весело выходит группа парижан, возвращающихся из театра. Мужскія лица кажутся нам в величину чернильных точек. В этих точках неразборчиво помѣщаются лбы, носы, подбородки, смокинги и лаковые ботинки. Женщины же, наоборот, сильно приблизились к нам, как будто мы разсматриваем их в полевой бинокль. Мы видим швы их вечерних нарядов, бусинки жемчугов, черныя полоски карандаша под нижней вѣкой, съѣденную помаду на задней части губ, блеск щипцов на круто завитых волосах, рисовую пудру на декольтэ, начинающуюся на груди канавку, прозрачность чулков, разстегнувшуюся пуговку на туфлѣ, выбритость подмышек. Нам кажется, что мы читаем их мысли. Мы, например, понимаем, что онѣ сидѣли в хороших мѣстах, слегка боковых, в тѣх, которыя отпускаются по удешевленным цѣнам; что онѣ нѣсколько часов жили в ином планѣ жизни, испытывая радость от нарядности вечерняго платья, от чуть замѣт-

ной и пріятной тяжести серег и непривычнаго ощущенія рѣдко надѣваемых парадных колец, от уюта ноги в шевровой кожѣ, еще не пошедшей в складку. Пьеса доставила им ту степень удовольствія, когда не бывает жаль денег, истраченных на билеты. По лукавым порочным улыбкам мы догадываемся, что представлена была комедія, в которой жена надувала мужа-простофилю, чиновника из министерства народнаго просвѣщенія, чиновника не крупнаго, но и не малаго, из той категоріи, которая не мѣняется в связи с уходами и приходами новых министров. Так как всякая женщина от рожденія подготовлена к непріятному моменту, когда на крыльцѣ звонит возвратившійся из командировки муж, и любовника надо прятать в классическій шкаф, гдѣ нафталин лѣзет в нос и приходится чихать, то автор предложил вниманію свѣжій варіант: как поступит преступница, если любовник второпях надѣнет мужнин правый сапог на свою лѣвую ногу? Мы отлично представляем себѣ, как в такіе моменты работает острая женская мысль и снисходительно улыбаемся остроумію природы, которая в женских мозгах создала чрезвычайно сильныя, спеціально-защитныя мозговыя линіи и узлы, задача которых состоит в том, чтобы быстро разбираться, находить выходы из любовных запутанностей и передумать семьдесять семь дум во время короткаго полета с печки. Мелькает мысль и о том, что если бы магометанство было создано женщиной, то она узаконила бы многомужество. Высказав такую мысль в многолюдном женском собраніи, мы несомнѣнно пожали бы обильные аплодисменты.

В связи с этими соображеніями, мы рѣшили

заглянуть туда, гдѣ свѣтит множество огней, блистают зеркала, стучит касса с выскакивающими цифрами и гдѣ женщины не лгут.

Нас встрѣтили радостным шумом. Навстрѣчу поднялась почтенная дама с наглухо закрытым воротником вдовьяго платья и с большой, широко раскинувшейся на груди цѣпью. Мы были приняты, как принцы крови. Нам были предложены всѣ напитки, умѣстные в полночь, и когда мы из озорства спросили вульгарную смѣсь пива и лимонада, то даже такіе дешевые вкусы не омрачили чела привѣтливой дуэньи. Для нас на механическом піанино, с разбитым средним регистром, завели самый торжественный из маршей, сочиненных людьми, марш из «Пророка». Впрочем, мы имѣли случай замѣтить молніеносно-быстрый и зоркій взгляд, скользнувшій по воротнику, галстуку и лацканам нашего пальто. Нам показалось, что лента на нашей шляпѣ произвела проходящее, но смутное впечатлѣніе. Поэтому мы поспѣшили снять наш головной убор и положить его рядом с собой, на диван, в затѣненное мѣсто.

Нам представили ассортимент молодых и хорошеньких женщин, которыя смотрѣли на нас взволнованными и не лгущими глазами. Мы встрѣтились с умоляющими взорами, с безпокойным миганіем рѣсниц, с рисунком прелестной руки, тревожно легшей на грудь, с курчавой головой негритянки, с легкой веснушчатостью еврейки, с вздернутым носиком француженки, с тяжеловатым подбородком чешки.

Когда мы пригласили к столу вздернутый носик, то сразу и так же не лживо погасли любовные взоры и мы увидѣли множество повернувшихся спин. Носик с удовольствіем побѣды

шевельнул ноздрями и объявил, что его зовут Жозетт и, что он пьет только розовый коктейль. Почтительный лакей в бѣлом смокингѣ похожій на трагическаго актера, с удовольствіем выслушал заказ и, по его исполненіи, потер пальцем о палец, что мы правильно истолковали, как приглашеніе к немедленному платежу.

Жозетт, взяв нас под руку, дружелюбно чокнулась розовым коктейлем с простонародной смѣсью. Потом она пыталась завести галантерейный разговор о погодѣ, но мы попросили ее временно помолчать. Жозетт охотно согласилась и не извѣстно откуда взявшейся щеточкой начала полировать ногти сначала на рукѣ, а потом и на ногах. В этой послѣдней позѣ она напоминала нам обезьянку.

Мы получили возможность осмотрѣться. Как в парикмахерской, было много зеркал, создававших странную, продолговато - съуживающуюся переспективу. Было много мозаичных столиков с цифрой 25 на крышкѣ. На потолкѣ были развѣшаны гирлянды из мелких лампочек. Кругом сидѣли раскраснѣвшіеся парижане и взаимно не замѣчали друг друга. Марш из «Пророка» заставил повысить голоса и смѣх — усилить до неестественности.

Что остановило наше особенное вниманіе? Во-первых, сидѣвшій в углу одинокій и уже не молодой человѣк. Он пил пиво из большой винной рюмки, опустив голову на руки и иногда недобро взглядывал на нас. Во-вторых, — касса, стучавшая с особым грохотом механизма, с повертывающейся ручкой и с выскакивающими, как маріонетки, цифрами. Мы рѣшили, что касса эта видѣла преступленій больше, чѣм гильотина.

— Ну, Жозетт, — наконец, спросили мы, чтобы отвлечься от дум, — как тебѣ понравился розовый коктейль?

И Жозетт, оставив щеточку, снова взяла нас под руку, как стараго друга, и вмѣсто отвѣта спросила: — Осмотрѣлся? Понравилось? Чистенько? А твой коктейль, ты уж прости, я потихоньку вылила под диван. Пусть его пьют черти! И потом знаешь что, ты не разсердишься, что я тебѣ что-то скажу?

— Ну, вот еще новости! — отвѣтили мы.

Жозетт тѣсно прижалась к нам и довѣрительно шепнула:

— Мнѣ кажется, что я с тобою зря теряю время. А? (Пауза). Мнѣ кажется, что ты влюблен в кого-то, а? (Пауза). И, вѣроятно, без взаимности? А? (Пауза). И сюда пришел от досады, а?

— Это еще что такое? — возмутились мы без особой искренности.

— Ты же обѣщал не сердиться, укоризненным шопотом отвѣтила Жозетт и легкой ручкой похлопала нас по плечу, добавив: — ты же стыдишься самого себя и ни за что, вмѣстѣ со мной, не подойдешь к кассѣ, чтобы заплатить деньги и получить салфетки. Ну сознайся, будь храбр. Не подойдешь же?

Мы замолкли в смущеньи.

— Когда в ресторан приходит человѣк с желтым зрачком, — продолжала Жозетт, — то лакей знает, что он никогда не спросит телячьей головы с винигретом.

— Ну? — иронически спросили мы.

— А здѣсь, вѣдь, только ресторан, отвѣтила Жозетт, — и когда приходит человѣк...

И, остановившись на многоточіи, Жозетт,

снисходительно улыбаясь, смотрѣла мнѣ в лицо, испытывала мой лоб, глаза, губы, пощекотала у меня за ухом, — вдруг, совершилось волшебство: ея глаза превратились в стереоскопическія зеркала и я увидѣл в них себя, рельефнаго и слегка чужого, как в портретѣ тонкаго и чуткаго художника. Я был не тот, каким знал себя по отраженьям.

— А вот в среду,— шептала Жозетт,— у меня выходной день. Я отдохну, надѣну свою новую соломенную шляпку, гладко причешусь, сдѣлаю простенькій гримм, обновлю свои лаковыя туфельки, буду хорошенькая и скромная и приду к тебѣ. Мы пойдем к теткѣ Маріаннѣ пообѣдать, потом покатаемся на электрическом рингѣ, — там сейчас ярмарка, — и я тебѣ ручаюс, что на двадцать четыре часа ты забудешь свою любовь и свою злую красавицу. А теперь достань карандаш запиши свой адрес и уходи.

Глаза ея смотрѣли прямо и никаких туманностей не было там, за зрачком, в полях, иногда расширяющихся до необозримых пространств.

На улицѣ, уже за углом, меня догнал человѣк, пившій пиво из большой винной рюмки.

— Благодарю, благодарю вас, — заговорил он возбужденно и с сильным акцентом: — благодарю вас!

— Не знаю, чѣм я послужил вам, — отвѣтил я.

— Вы ушли, не взяв Жозетт, говорил человѣк. — Я люблю ее, эту скверную дѣвченку, и она издѣвается надо мной. Сегодня ее три раза приглашали на моих глазах, а она подходит ко мнѣ и говорит: — «Благодарю тебя, Борис; пока ты сидишь тут, мнѣ везет. Ты мой порт-боннер». Какова? А вы? Вы не взяли, вы проучили ее,

вы сбили ея спѣсь. Я гипнотизировал вас и, как видите, не безуспѣшно. Еща раз благодарю.

Он схватил мою руку, азартно пожал ее и исчез в направленіи людовиковских арок.

XXVIII.

Стыд.

Чтобы хоть как-нибудь уйти от себя, я старался найти забытье в чтеніи, начал посѣщать кинематографы и слушать тромбонные разговоры фрачных героев, не пропускал русских митингов, на которых промотавшіеся отцы проповѣдуют, пророчествуют, предсказывают и все хотят доказать, что они были всегда правы, трижды правы и остались бы семьдесят раз правыми, если бы не случайно случившійся случай. Я вглядывался в ряды слушателей и чувствовал, как огромен и силен был историческій момент, когда первые стали послѣдними и тощія коровы пожрали коров толстых. В сущности, всѣ историческія бури, именуемыя революціями, с рѣдким единодушіем утверждают этот образ фараонова сна, и Марксы всѣх времен должны были бы, по справедливости, свои труды посвящать с признательностью этому египетскому владыкѣ, голова котораго даже во снѣ оставалась умною.

Начались театральныя работы и с самого начала навели на меня большое уныніе. Чтобы освѣжить репертуар и сдѣлать своих лилипутов хоть сколько-нибудь интересными, директор шел на самыя отчаянныя выдумки. Так, он рѣшил сдѣлать из них оперных артистов и поставить с ними сцену в корчмѣ из «Бориса Годунова». Потом ему пришло в голову изобразить рыцар-

скій турнир под стѣнами Каркассона и еще что то такое, от чего у меня в правой сторонѣ черепа начиналась мигрень. В моем распоряженіи был оркестришко, в котором скрипачи держали скрипки, примыкая ухом к декѣ, а віолончелисты ставили свои віолончели внѣ колѣн. Оркестришко привык отбивать квинты «итальянскаго» аккомпанимента и на ноты Мусоргскаго смотрѣл с затаенным в глазах ужасом. Выходила пародія, смѣшная и жалкая, и мнѣ порою хотѣлось схватить пюпитр и запустить его то в глухого скрипача, то в толстаго віолончелиста, котораго всѣ звали малокровным.

В тѣ времена, когда я отсутствовал, оркестром правил сам директор.

— И понимаешь? — довѣрительно говорил мнѣ Васенька, тянувшій за собой клавир «Бориса», как пудовую гирю, — из него — такой же дирижер, как из навоза пуля. Выдолбит дома на гармони-флютѣ текст, а потом попрекает всѣх: и не музыкальны-то мы, и бездарны, и уши всѣм гвоздем чистить нужно, а, самое главное, знаешь что? Он влюбился в мою жену!

Я выразил молчаливое изумленіе.

— Да, влюбился! — злобно блѣднѣя, продолжал Васенька: — Проходу не дает... И не знает только одного...

Васенька хлопнул клавиром по столу.

— Да, — сказал он твердо — я — карлик, я — урод, меня в спиртовой банкѣ держать надо, но, милый мой, я подскочить могу, подпрыгнуть и уж тогда извините — ножик будет в спинѣ. Да, в спинѣ, ибо с меня не спросится. Я — маленькій, я — Бобчинскій, у меня ручки коротенькія, на мой костюм нужно всего полтора

метра. Мнѣ простят, если я даже из-за угла, крадучись, по воровскому...

Самое странное было то, что я не нашел сил ни утѣшать Васеньку, ни оспаривать его, ни доказывать ему нехорошесть его мыслей. Наоборот, все как то с любопытством встрепенулось во мнѣ и ожило. Вот, думал я, если бы и в в самом дѣлѣ пырнул! Какой бы это был очаровательный и театральный судебный процесс! Какой діалог защитника и прокурора! Какія фотографіи! И Юдифь, с ея прошлым, жена карлика, красота русская, таинственная, дикая... Я думал о русской любви, из которой еще не вывѣтрилось что-то истерически-кошачье, и объяснял это молодостью нашей расы, отсутствіем подлиннаго любовнаго опыта, поэзіей, которая еще не потеряла заклинательных чар. Я сравнивал русскую любовь с любовью французской, болѣе простой и ясной, с зачатками логики, часто принимающей вещи такими, какими онѣ существуют на самом дѣлѣ.

И, странно, с досадным любопытством я начал ожидать среды. Не знаю почему, но когда мнѣ захотѣлось купить цвѣтов, я остановился на крупной ромашкѣ. Я предчувствовал фразу, которую мнѣ скажет француженка:

— Когда эта ромашка завянет, ты сдѣлай из нея настой и вымой голову. Волосы пріятно посвѣтлѣют и станут мягкими.

С европейской точностью, в среду, часов около четырех, раздался легкій стук в дверь и вошла Жозетт, которую я ни за что не узнал бы на улицѣ. Одѣта она была подчеркнуто скромно: новыя и ладныя перчатки дѣлали руки продолговатыми, а лаковыя лодочки на ногах эффектно подчеркивали горбик подъема.

Женское увяданіе начинается с легких морщин у глаз и в потолстѣніи рук между локтем и плечом: у Жозетт, несмотря на ея каторжное ремесло, этих признаков не было и фигура ея казалось еще болѣе молодой и сильной, чѣм в залѣ с многочисленными огнями и зеркалами. Измѣнилось выраженіе лица, — было в нем и смущеніе, и робость, в жестах — нерѣшительность, в походкѣ — осторожность, как на льду. Прическа у нея была с вопросительными знаками на щеках и это к ней шло и подчеркивало ее, как француженку.

— Ты — бѣден? — спросила она, смѣшливо оглядывая углы комнаты, отлипшія шпалеры, штопанное покрывало на кровати.

— Как церковная крыса, — отвѣтил я с удовольствіем от мысли: нарвалась, наскочила, зря потеряла время.

— Это очень хорошо! — вдруг и серьезно сказала она и добавила, протягивая мнѣ какую-то продолговатую коробку из универсальнаго магазина: — вот тебѣ подарок в память нашего перваго свиданія. У тебя мама жива?

— Нѣт.

— Я буду твоей мамой.

Я не знал, что дѣлать с коробкой.

— Ты не умѣешь развязывать нитки? — спросила Жозетт и наставительно добавила: — это дѣлается просто, но никогда не нужно рвать или рѣзать ножницами. В хозяйствѣ все пригодится. Надо прежде всего ослабить узел.

И она начала показывать мнѣ тайну развязыванія. Пальчиком, тщательно отмытым и наманикюренным и все таки носящим слѣды бѣдных домашних работ, постирушечек и шитья с наперстком, она ловко ослабила узел, двумя но-

готками зацѣпила нитку, вытянула ее и подсунула под крест перевязки, опять вытянула, узел распался и нитка, сохранив зигзаги, освободилась.

— Гвоздик есть? — спросила Жозетт.

— Не знаю, — отвѣтил я.

— Какой глупый! — пожурила Жозетт: — не знает своей мебели.

Она поискала по стѣнам, нашла гвоздик и сказала:

— В этой комнатѣ жила женщина. Видишь? Прибито поженски. Здѣсь она вѣшала юбки. Теперь развернем бумагу. Теперь раскроем святое святых. Вот подарок моему другу.

В коробкѣ, сверкая красками, лежал шелковый галстук-самовяз. По черному, то матовому, то блестящему полю шли наискось то синія, то темно-оранжевыя полосы.

— Это вам будет к лицу, — гордо сказала Жозетт, приставляя галстук к моей груди и любуясь эффектом.

— Чѣм я заслужил такія милости? — спросил я.

Жозетт отвѣтила просто:

— Ты — не красив, ты не богат и едва ли умен. Но в тебѣ есть одно качество, которое плѣнило меня с головы до ног.

— Можно узнать какое?

— Можно узнать,— и, чуть подумав, раскрыв глаза, отвѣтила: — стыд. Я давно рѣшила: того, кто застыдится, беру себѣ в сыновья. Ты — мой сын. А теперь разсмотрим твои звѣзды. Кстати, никаких сыновних обязанностей я на тебя не налагаю. Ни кормить, ни хоронть своей матери ты не обязан.

Она достала из сумки колоду карт, несвѣ-

жих, с потемнѣвшими рубашками, неохотно тасующихся, — и положила ее передо мной.

— Снимай лѣвой рукой и скажи: «Каліостро, Каліостро, открой мнѣ всю правду».

Я сказал.

— Нѣт, без улыбки. Это очень серьезно.

Сжав челюсти, я сказал серьезно:

— Каліостро, Каліостро, скажи мнѣ всю правду.

Жозетт начала раскладывать карты и с напряженной пристальностью всматриваться в них.

— Так и знала. Мой негодный сын влюблен. У тебя в головѣ какая-то блондинка, может быть, шатенка. И огромныя деньги к тебѣ в дом! Боже мой! Прямо богатство, золотыя розсыпи! А вот трефовый король, что-то в родѣ твоего начальника. У тебя есть начальник?

— Есть, — отвѣтил я, думая о директорѣ.

— Он к тебѣ очень хорошо относится, втайнѣ любит тебя.

Жозетт вынимала карты медленно, с большими паузами, — и, вдруг, достала десятку пик.

— А это что же? — спросила она самое себя удивленно и мысленный, недобрый отвѣт прошел в ея глазах.

И совсѣм медленным жестом, боязливым и нерѣшительным, потянула слѣдующую карту. Вышла девятка пик.

Жозетт смутилась и спутала карты.

— У тебя в каминѣ тяга дѣйствует? — спросила она.

— Дѣйствует.

— Давай огня. Жги газеты.

Я собрал большой пук газеты и зажег. Пламя с легким стоном бросилось вверх. Побѣжали

в разныя стороны испуганные, толстые и поворотливые пауки.

Жозетт начала медленно рвать карты и одну за другой — бросать их в огонь. Корчились короли и дамы, валеты и мелкая тварь. Десятку и девятку пик она разорвала особенно тщательно и за их сожженіем слѣдила напряженно и мстительно.

— Наврали, подлыя, — сказала она: — вот за это и горите. Им больно, — ты знаешь?

Обращаясь к покойной матери, я мысленно, по русски, сказал:

— Прости, что называться твоим именем я позволил уличной дѣвкѣ...

И Жозетт сейчас же отвѣтила:

— Клянусь тебѣ Богом, — она не сердится.

Если бы Жозетт поклялась чортом, я бы подумал, что передо мной, дѣйствительно, настоящая и большая колдунья.

XXIX.

Лоэнгрин.

Жозетт была у меня каждую среду и я ждал ее с тѣм нетерпѣніем, с каким больной ждет морфія. Веселая, как обезьянка, она развлекала меня и успокаивала и я очень любил серебряныя искорки в ея глазах, которыя, перемежаясь, зажигались то в зрачкѣ, то на радужной оболочкѣ. Входя, она бросалась мнѣ на шею и, повернувшись в возухѣ, долго болтала ногами и это называлось у нея плавать на синей волнѣ.

Жозетт никогда не приходила с пустыми руками и какая-нибудь пробная бутылочка коньяку с проволочным штопором казалась мнѣ нео-

бычайно вкусной и умѣстной. Она подарила мнѣ спиртовку, чтобы варить кофе и долго учила, в каких пропорціях надо примѣшивать цикорій или ваниль. С хозяйственной жадностью она набрасывалась на починку бѣлья и, пришивая или укрѣпляя пуговицы, работала с серьезным видом и так нагибалась, как это дѣлают близорукіе. В комнатѣ она переставила посвоему мебель и кровать устроила изголовьем против юга: это гарантирует от безсонницы. Она дала мнѣ множество цѣнных совѣтов: если, например, ночью мѣшает лай собак, то переверни под кроватью спальныя туфли и собаки замолчат. Если хочешь, чтобы кто-нибудь пришел в гости, положи под дверной коврик красный лоскут. Много говорила о том, как приворожить человѣка, чтобы удалось задуманное дѣло и во всем этом большую роль играли дверные коврики, красныя тряпочки, вырѣзываніе лоскута из подкладки, сахар, соль, хлѣб.

Было пріятно смотрѣть на дѣловитость, с которой она, повосточному поджав ноги, возсѣдала на кровати и орудовала иглой, подталкивая ее наперстком: как изящны и отчетливо-проворно были худенькія руки с тонкой прозрачной кожей и трезубцем нѣжных костей! Особенно поражало меня ея искусство завязывать узел нитки языком; тогда у нея в глазах рождалось выраженіе, какое я наблюдал только у русских медвѣжат.

Жозетт завела метлу, похожую на лопатку, выбивалку для ковров и теперь моя комната, старая, толстостѣнная, сверкала, горѣла и блестѣла. Все помолодѣло, подтянулос; пріободрился даже дряхлый шкаф и только черная ржавчина в углах зеркала могла выдать его пре-

клонные годы. На протершейся обивкѣ кресла возлег кружевной платок, исцѣлившій рану, окно было протерто до незамѣчаемости стекла и, сквозь него, парижскій пейзаж с парадом своих узких толстопузых домов на набережной, с полосой смирной неволнистой рѣки, казался обновлённым и, как в юношескіе годы, привлекательным. Я стал бояться пыли, пепла и окурков.

А когда подходило десять часов вечера и мой полусумасшедшій сосѣд начинал славить Бога фокстротом «Алиллуйя», то мнѣ казалось, что нам, бѣдным и заброшенным людям, невидимо соприсутствует Моцарт, безпечный и праздный гуляка, не обиженный, что его обѣдню какой-то нью-іоркскій наглец переложил на плясовые темпы. И, когда начиналась эта музыка, смягченная и облагороженная стѣной, Жозетт, приготовив руки, лунатически подходила ко мнѣ и наши ноги, то вперед, то назад, начинали дѣлать маленькіе смѣшные, семенящіе шажки, тѣло подготавливалось к крутым поворотам и пульс начинал биться в ритм музыки. Мы танцовали на узеньком пространствѣ, то загибая ковер, то толкая кресло или стол и учтиво перед ними извиняясь. А когда фокстрот кончался и слышалось только шипѣнье иглы, мы, как в дансингѣ, требовательно хлопали в ладоши и сосѣд, в волненіи, пускал свою пластинку с середины и тогда мы нѣсколько секунд стояли обнявшись, чтобы поймать ритм.

Однажды Жозетт добралась до чемодана с моими рукописями и испугалась, подумав, что я фабрикую фальшивыя деньги. Она никогда не думала, откуда берется музыка, и когда поняла, что ее особыми знаками можно записывать на

пятилинейной строкѣ, то придумала свое выраженіе: прятать звуки в коробочку.

В послѣднюю прощальную среду она ворвалась в комнату с двумя листочками розовой бумаги в рукѣ; это были театральные билеты; и ровно через полчаса мы были с ней у фасада Оперы.

Я очень люблю часы хожденія в театр. Особое настроеніе охватывает меня с той секунды, с которой я получаю в руку свой билет. Стоит мнѣ ощутить прикосновеніе этого маленькаго листка, как вся жизнь уже представляется мнѣ иною. Я хуже вижу, хуже слышу. Люди кажутся мнѣ маскарадными, лица их и дѣла незначительными и я скорѣе хочу пройти разстояніе от метро до театральной двери. Автомобили, их звонки и дрожаніе моторов дѣлаются особенно ненавистными. Фасад театра, в обычное время напоминающій мнѣ торт, теперь кажется волшебным. Мнѣ даже нравится то вымученное усиліе, к которому прибѣг архитектор, чтобы сдѣлать входную лѣстницу ослѣпляюще-роскошной. Я даже чувствую горькія, тайныя мысли архитектора: «а все-таки я недостоин развязать ремень на ногѣ того, кто построил лѣстницу в Блуа». И я утѣшаю архитектора: «ничего, не бѣда, милый, и у тебя будет просвѣт». Я знаю только одно: там, гдѣ-то, сзади, в узеньких комнатках, сейчас волнуется сотня людей, мажущих лица сначала оливковым маслом, потом кладущих на него тон, первый или третій, наводящих черную жирную черту поверх бровей, рисующих продолговатыя черточки у глаз, усиливающих кисточкой линіи носа, румянящих, дѣлающих рот ослѣпительно-карминовым, приклеивающих бороды к выбритости подбородка,

и только это мнѣ кажется настоящей и цѣнной жизнью.

Когда при первых аккордах увертюры, у меня огнем пробѣжал мороз по кожѣ и я хотѣл это скрыть, — Жозетт сразу все поняла и участливо взяла меня под руку, прислонилась головой к плечу, дала мнѣ своего тепла, и я вспомнил жену и ясно представил, как та в это время наводила бы бинокль на партер, завистливо, до сухости во рту, разсматривая бриллiанты, прически и фасон платьев «хорошей» публики, как ей было бы стыдно этого второго балкона, узкой скамьи, сопѣнья толстой тетки и она ворчливо говорила бы, что бѣдность — не порок, но большое свинство.

Жозетт тоже разсматривала люстры, потолок, занавѣс, клѣтки лож, но пѣвучесть скрипок во второй части увертюры захватила ее, пальцы ея крѣпче и крѣпче стали сжимать мой локоть, губы полуоткрылись, от прически отдѣлилась прядь слабо завитых волос и дыханье сдѣлалось чуть замѣтным и горячим.

Но когда открылся занавѣс, запѣл король с приклеенной бородой, слишком старой для его глаз, и на задней кулисѣ, провожая шаги неосторожнаго плотника, закачались стволы столѣтних дубов и стало видно, как в жизнь средневѣковых людей вмѣшивается дирижер, вылѣзающiй из фрака и лѣвой рукой рѣзко и часто перелистивающiй партитуру, — очарованiе разрушилось и Жозетта разсмѣялась по-деревенски, в платочек. А когда хористы в мѣдных колпаках, похожiе на пожарных, сдѣлав искусственный и вялый энтузiазм, ударили пиками в пол и из соль в до крикнули: «Nous prêterons»,— Жозетт посмотрѣла на меня конфузливо, что я

истолковал так: только дѣти могут принять всерьез такіе пустяки.

Она, вдруг, потеряла уваженіе ко всему: и к красотѣ театра, и к поющих людям, и к зрителям. В одном только мѣстѣ она не видѣла обмана: в оркестрѣ. Да, только там, в этом отдѣленіи ниже пола, сидят непритворяющіеся люди, ненамазавшіе щек и честно читающіе ноты. Ей стало скучно и она незамѣтно слазила в мѣшочек, гдѣ лежал «кар» леденцов в бумажках, и я слышал, как осторожно шуршали эти бумажки и как леденцы перекатывались меж зубов, от щеки к щекѣ.

Потом, постепенно и незамѣтно для себя, она стала привыкать к неестественностям представленія: появленіе лебедя и высокаго статнаго человѣка в серебряном чешуйчатом панцырѣ, с крыльями на шлемѣ, ее плѣнило. Она спросила меня, как его зовут, и непривычное имя по школьнически повторила нѣсколько раз. Матовый, сладковатый тенор, лившійся из горла с особой, в Италіи поставленной, легкостью, нравился ей, она зарумянилась и полоса подлиннаго румянца четко отдѣлилась от накрашеннаго: в ней начиналась театральная влюбленность и в глазах, порою, собирался комочек слез, ускользавшій назад, как только король или Фредерик, начинали свое тяжелое, надутое козлетоновое пѣніе. К Эльзѣ и к ея жестким бѣлокурым волосам она отнеслась холодно: она чувствовала любовное дыханіе между ней и Лоэнгрином и тайно ревновала.

В антрактах я старался объяснить ей, что в этом огромном и сложном шумѣ все с точностью до секунды соразмѣрено и каждое движеніе смычка или губ флейтиста предопредѣлены

нотой и что все это придумал, составил и записал один человѣк, не молодой нѣмец, носившій, покрывая правое ухо, берет, безконечно и требовательно клянчившій у всѣх денег, обожавшій площадь святого Марка и кафэ Флоріана.

Жозетт плохо вѣрила моим разсказам и упорно твердила:

— Этого не мог сдѣлать один человѣк!

Я злился, вступал в перекоры и только тогда, когда два хора запѣли медленным молитвенным дуэтом: «Ton âme», — мнѣ стало ясно, что, со всѣми своими претензіями на музыкальную образованность, я, в концѣ концов, ни о чем истинном не догадываюсь и что по настоящему чуткой и проницательной оказалась она, это бѣдное и жалкое существо, послѣднее из людей. Конечно, это не написано одним человѣком. Конечно, этого, собравшись вмѣстѣ, не смогли бы написать всѣ люди. Конечно, все это продиктовано и нашептано Духом Святым, Господом Животворящим.

— Отверзу уста моя и наполнятся Духом и явлюся, свѣтло торжествуя, — так когда-то, на третій глас, распѣвали русскіе дьячки.

И в этих простых, но ясных и точных словах открылась мнѣ вся тайна творчества.

Лысый человѣк в беретѣ, обыкновенный нѣмец-перец-колбаса, умѣл отверзать уста и онѣ наполнялись Духом и теперь во вражеской странѣ, в торжественном парижском кафедралѣ музыки, он, невидимый и таинственно живой, является свѣтло торжествующим.

О, какими маленькими, бѣдными, показались мнѣ бумаги в моем чемоданѣ! Хорошо, что я не носился с ними, как Мартын с мылом, не толкался по театрам и издателям, не играл отрыв-

ков понимающим людям, и, предусмотрительно заглядывая в будущее, не искал благосклонности у газетных писак. Иначе, лупи себя обѣими руками по мордѣ, прочно надѣвай на шею мельничный жернов и — в прорубь!..

. . . .

Бывает так, что один день, один час, одна минута впитывает в себя всю предыдущую жизнь и, когда послѣ спектакля, послѣ великаго воздуха искусства, я вышел на улицу, то сразу стало скучно и весь шум, запах бензиннаго перегара, замученныя деревья на тротуарах (напоминающія звѣрей в клѣтках), затемненность неба от реклам, пиво на нагрѣтой парусиной террасѣ, преувеличенный свѣт электричества, — все стало противно, как кровать во время безсонницы. И я по дѣтски обрадовался, вспомнив, что в моем номерѣ уже стоят нагруженные чемоданы и надо только надавить колѣном, чтобы замки сошлись. Завтра французскій Гаврила закрутит и мы двинемся в путь и я снова увижу барселонскіе бульвары, барселонскую гвоздику и кафэ Оріенте. Прощай, Ротонда!

XXX.

«Зеленые очки»

Ослу надѣвают зеленые очки и потом дают стружки. Осел ѣст стружки и думает, что это — трава.

Вѣроятно, и я немножко похож на этого осла. Я ѣду в Испанію и уже на орсейском вокзалѣ надѣваю зеленые очки. В этих очках Испанія напоминает мнѣ Россію.

Я люблю переѣзжать границы. Предъявляя в таможнѣ паспорт, остро представляю, как наступит в моей жизни тот самый яркій и священный день, в который я снова перейду русскую границу. Если бы кто-нибудь сумѣл доказать, что это — несбыточныя мечты, то я перестал бы представлять себѣ, зачѣм мнѣ дольше жить на бѣлом свѣтѣ. Этот день прійдет, я перешагну русскую границу, я буду окружен русской и только русской рѣчью, как водою в морѣ. Пусть слова и интонаціи будут грубы, жестки, оскорбительны и несправедливы, но это будут русскія слова. Мнѣ надоѣла холодная вода этих voulez-vous, bitte и prego. Поэтому, надѣв зеленые очки, я испытываю волненіе, когда в Порт-бу чиновник, похожій на наших надворных совѣтников, просматривает мой паспорт, удивляется множеству лиловых виз, и подозрительным оком сличает каторжную фотографію с моей физіономіей. В его движеніях, в его провинціальности, в его боязни промахнуться и добродушіи, есть что-то от русскаго чинодрала и мнѣ кажется, что в общежитіи его именуют Поликарпом Ивановичем. Этот Поликарп Иванович, как судебный пристав, в один прекрасный и долгожданный день, введет меня во владѣніе моей страной, моим родным городом, родным домом, полосою желѣзной дороги от Ростова до Москвы, запахом рогожи и смолы на волжском пароходѣ, пѣніем соловья вблизи Васильсурска, видом на Нижній с ярмарки, звоном угличских колоколов. Я не могу без волненія думать о принадлежащем мнѣ достояніи.

Я не знаю откуда и почему, но Испанія каким-то своим воздухом, какими-то своими ли-

ніями, каким-то своим особым обхожденеіем напоминает мнѣ Россію.

Эта страна говорит на остатках латинскаго языка, не знала войны, убитых и раненых, защитных шинелей, воинских поѣздов, газовых масок, штабных сводок, хлѣбных карточек, материнских и сиротских слез. На мір, на солнце, на людей она смотрит тѣм выраженіем глаз, которое с четырнадцатаго года померкло в Европѣ. Ее удивляем мы, люди пріѣзжіе, потому что у всѣх, кто был на войнѣ, остался в глазах «сум», как для краткости называл сумасшествіе мой полковой врач. В Испаніи — здоровое зрѣніе, здоровый слух, безмятежен сон, народ еще способен сочинять новыя пѣсни и о любви находить новыя вѣскія слова.

В Испаніи осталась неторопливость жизни. Однажды, ѣдучи из Реуса в Сарагоссу, я за цѣлый день встрѣтил только двѣ встрѣчных телѣги и отары овец бросались от моего автомобиля, как от бѣшенной собаки. Кстати, только еще в Испаніи собаки провожают автомобиль лаем.

В Испаніи можно набрести на отель, в котором ночевывали и Дон-Кихот и Сервантес. Широчайшіе постоялые дворы с вкусным запахом сѣновала, конскаго пота и колесной мази, с оживленной и непонятной карточной игрой на серебро под керосиновым фонарем, расположены в центрах городов. В Испаніи к вину не примѣшивают воды и человѣк никогда не ощутит от него головной боли: испанское вино точно исполняет закон Писанія и веселит сердце. Узнав, что вы — иностранец, рѣдкій трактирщик не предложит вам безплатно отпробовать от какой-нибудь заповѣдной бочки, за которой, с ре-

зиной в руках, сам полѣзет в подземелье. В глазах его блестит уже то удовольствіе, которое вы сейчас испытаете сами. Вы здѣсь начинаете понимать разницу в наслажденіи первым стаканом и вторым, пятым и одинадцатым. В погребѣ, под сводчатым потолком, горит фонарь, спускающійся на блокѣ и похожій на лампаду. Вокруг стоят стоведерныя бочки... Пол земляной, скамьи без спинок. Старуха, перед тѣм, как сервировать вас, долго и вкусно полощет бутылку под уличным краном. А рядом — огромный собор с перепутанностями сводов, дыханіе крѣпкаго роснаго ладана и во дворцѣ, на огромной плоской стѣнѣ — только одно окно, непонятное, отлично украшенное карнизами, нелѣпое и волнующее. Пальмы, тихо плещет море и его послѣдняя волна, бѣлая, похожа на клавіатуру.

Тихо оберегают страну маленькія Мадонны в парчевых царских одѣяніях, в коронах, в париках из дѣвичьих волос. Онѣ странны, насчитывают столѣтія, эти святыя куколки, в них есть притягательная сила, перед ними можно просидѣть цѣлый день и без всякаго усилія какая-то таинственная рука вычистит вам душу и вы другим человѣком выйдете из часовни на земной, животный воздух. Я обожаю одну из этих Мадонн, валенсійскую, Мадонну людей отчаявшихся, людей лютаго тѣлесе озлобленія, и всегда мечтаю о том, как мою земную ладью вновь пригонит к берегам этого по виду мало чѣм замѣчательнаго города, но с внутренней прелестью, прикасающейся к сознанію, и тотчас же, как золотая рыбка, ускользающей. Для русскаго в нем есть что-то от Москвы, и кажется, что Иверская теперь на ангельских руках перенесена сюда.

Я люблю достойных и вѣжливых людей, населяющих Испанію, чинно обѣдающих в гостиницах за общим столом, пьющих вино прямо из бутылок, не прикасаясь, однако, губами к горлышку. Это даже не питье, а переливаніе вина из одного сосуда в другой. Пріятно в это время отмѣчать наслажденіе вкуса, ласку рта, и потом — первую сбивчивость, появляющуюся в глазах и пальцах. Аромат мяса, зажареннаго большим куском на вертелѣ, или рыбы мерлюццы, похожей на нашего донского судака, возбуждает аппетит, а красныя гвоздики, жирныя и большія, кажутся, по совершенно непонятным ассоціаціям, цвѣтком и орденом пьяниц.

Бои быков (и эти двѣ части — части театра, солнечная и тѣневая) — національное торжество, о котором спеціальные критики пишут с таким же вожделѣніем, с каким в других странах пишут о балетѣ балетные критики. Из за несправедливаго сужденія о том или ином жестѣ торреадора критик может вписать в свою біографію отчет о солидной дуэли. Сколько комплиментов быку, его храбрости, остроумію и благородству. И часто приходила мысль: бои эти имѣют серьезное воспитательное значеніе, ибо глядя на звѣря, человѣк невольно берет у него уроки подлинной райской доблести, честности, отваги и простодушія. Может, в этих боях и заключается основная педагогика, воспитавшая испанца. Испанец — вѣжлив и долготерпѣлив, но если вы раздразните его какимнибудь красным лоскутом, он, не моргнув глазом, убьет вас хотя бы бутылкой по головѣ. Если бы я имѣл власть, то завел бы бои быков в Россіи: мои подданные многому бы в них научились. Лицемѣры много говорят об амораль-

ности этого зрѣлища. Но если предоставить слово быку, то он навѣрное предпочтет умереть в бою, на аренѣ театра, чѣм погибнуть на бойнѣ.

...И вот ранним, еще не засоренным утром, пробираюсь по метро, пахнущему сапогами, на орсейскій вокзал. Парус натянут, вѣтер поднялся. На порогѣ вокзала Париж уже отходит вдаль. Радует вокзальная обстановка, вся чуть чуть пропахшая ароматом дорожнаго дыма: не шумно-торгующее, без постоянной кліентеллы, офиціально казенное, совсѣм не парижское кафэ, кіоски с черезчур навязчиво поданными «произведеніями печати», автоматы с экономными пакетиками аниса, блузы носильщиков и их глаза, единственно спокойные в толпѣ, без слѣдов дорожной лихорадки. Непривѣтливыя кассы с таким же окошечком, как и в театрѣ, но без театральной уютности. Желѣзная дорога, эта ниточка, сшивающая город с городом, страну со страной,— гдѣ-то под землей. Отходящіе поѣзда — не слышны и только сквозь невидимыя щели просачивается и нѣжно ласкает ноздри, родная и близкая сердцу бродяги, гарь. Сейчас — одно - другое напряженіе стальной львиной груди и мы вынесемся на простор чистых, заботливо выхоженных полей. Мы увидим деревеньки, похожія на частицы городов, кладбища с аккуратными будками над могилами, рѣки, похожія на каналы, степенныя и не шаловливыя даже на солнцѣ. Во французском пейзажѣ нѣт той отравы, которая заставляет сердце забиться. С отравой есть только одна точка, под Марселем, когда впервые на секунду мелькает первое видѣніе моря.

В углу вокзала, на планках садоваго дивана, я вижу размѣстившейся всю нашу трупу. Сидят,

не доставая ногами до пола, дѣти со сморщенными, старческими и неулыбающимися лицами. Кажется, что вот такими должны быть жители Марса, Сатурна или иной какой-либо плохо согрѣвающейся планеты. Только одни драматическіе актеры попаают на сцену по велѣнію сердца. Оперные, или вот эти лилипуты — гости театра, попадающіе в него по случайному признаку голоса или маленькаго недоразвившагося роста. Самые знаменитые оперные актеры — простачки и дилетанты с точки зрѣнія подлиннаго театральнаго искусства. И вот, начинаю разглядывать лилипутов: на них — чистенькіе костюмчики, модные и выутюженные, но все, что в них модно, напримѣр — широко развернутые лацканы на пиджакѣ, или нижняя не застегивающаяся пуговица на жилетѣ, вызывает улыбку и почему-то выставляет в смѣшном свѣтѣ самую моду. Ботинки с накладными колотыми носками сверкают — и тоже смѣшно. Шляпы по особому заказу сдѣланы у Шульца: фетр мягкій, эластичный, не теряющій фасона, но тоже почему-то карикатурный. У лилипуток — перстни с брилліантами и туфли на высоких каблуках. Сидят группами, в одной — русскіе, в другой — нѣмцы, в третьей — англичане. Особняком сидит лилипут негр, самый франтоватый из всей компаніи. Хохлы навѣрное звали бы его «чертыня». Русскіе зовут его Сережей, англичане — Джеком, нѣмцы — Карлом, и он на всѣ эти имена откликается. Глядя на этого франтоватаго негритенка, я вспоминаю наблюденіе, отмѣченное во всѣх уставах полицейской внутренней службы: плохо одѣтый негр и щеголеватый араб — подозрительны. Наш Сережа-Джек-Карл терпѣть не может, когда его зовут

негром. Его нужно звать негро, с удареніем на о. У этого сорокалѣтняго негритенка — страсть к бѣлому цвѣту: его воротнички и манжеты всегда ослѣпительны. Он — плясун. Его коронный номер — чечетка, с отбиваніем подошв по полу. Директор разослал по агентствам всего міра требованіе найти ему партнера: тогда образуется золотой номер.

Совсѣм поодаль, в нѣсколько презрительной позѣ, устроился Васенька, костромич, с льняными волосами, наш премьер. У него звонкій голосок, смѣсь альта и тенора, необыкновенно высокій, пронзительно доходящій до третьяго ми. На сценѣ он носит канотье по фасону Шевалье, и, перебирая тросточку пальцами, исполняет залихватскіе куплеты. Он женат на Юдифи, взрослой и совершенно нормальной женщинѣ, которой доходит головой до бедра. Я ее зову Юдифью, всѣ остальные — Еленой Сергѣевной. Она — очень хороша, в глазах есть что-то сибирски волевое, в бракѣ с Васенькой — эпитимія, отрѣшенчество, подвиг. Она любит мужа и часто, как ребенка, носит его на руках, и тогда в странных, скопческих глазах Васеньки посверкивают огоньки, каких я никогда не видѣл ни в звѣриных, ни в человѣческих глазах. И тогда он кажется дьяволенком, искусно спрятавшим хвост и рожки.

У этих людей — особая странная жизнь, как у близнецов. Когда заболѣвает один, то болѣют немножко всѣ. Рѣдко зовут доктора, сами варят какія-то полынныя травы и настаивают декокты по рецепту таинственнаго доктора Эрнеста, который жил до ста лѣт и умер только потому, что упал с лошади. Когда к женѣ Васеньки пристает с любовью директор, — рев-

нуют всѣ. Когда кто-нибудь тянет вино, то даже нѣмцы бросают пиво и хотят вина. Они шепчутся в уголках. У них, как у глухонѣмых, есть своя азбука, и не зная языков, они отлично понимают друг друга. Самое странное в них, это увѣренность, что на землѣ нормальны только они, а не мы, всѣ остальные жители земного шара. И Бог в их представленіи — тоже маленькій. Они смѣлы и задирчивы и всегда носят при себѣ оружіе, иногда — огнестрѣльное, иногда — наваху.

XXXI.

54-ая комната.

— Ты не любишь моего дѣла! — кричал директор, бѣгая по кабинету.

Чтобы привести его в окончательное бѣшенство, надо сохранять спокойствіе и курить густыми затяжками.

— Когда ты скажешь это в сотый раз, мнѣ придется отпраздновать юбилей, — отвѣчаю я.

— Может быть, мое дѣло и халтура, но ты от него кормишься, одѣваешься и обуваешься, — кричал директор.

— Ты забыл еще упомянуть о квартирѣ с отопленіем и освѣщеніем, — отвѣчаю я.

— Я предлагаю тебѣ за это выступленіе внѣабонементных пятьдесят пэз!

— Не возьму и тысячи.

— На каміон уже погружено піанино!

— Бренчи на нем сам. У тебя как раз есть то качество, которое называется ярмарочным тушэ.

Такой діалог произошел в Мадридѣ.

В Испаніи творилось что-то шумное, нелѣпое и суетливое, что бывает в школах на перемѣнах и чѣм всегда начинаются первые спазмы революцій. У кондукторов трамвая — рѣшительный полководческій вид, рѣзкіе повороты рычага, вагоны не задерживаются даже на обязательных остановках. На уличных сборищах поносится имя короля и всякое остроуміе по его адресу, относительно его имени, или числа тринадцатый, встрѣчается шумными аплодисментами и взлетом каскеток. У полицейских, вмѣсто гордыни, пришибленный и виноватый вид. Ювелиры и мѣховщики затворяют свои двери задолго до вечерняго часа и увеличивают количество замков. Газетные заголовки украшаются множеством вопросительных и восклицательных знаков. Театральными дѣлами ни одна душа не интересуется, даже редакціонныя мѣста остаются незанятыми, — и наши спектакли в Барселонѣ прошли при пустом залѣ.

Поэтому, прибыв в Мадрид, директор пустился на отчаянныя средства. Расклеив по городу афиши с саженными буквами, выбросив на улцах милліоны летучек, он нанял огромную автомобильную платформу, разукрасил ее флагами всѣх государств, водрузил под их сѣнью обшарпанное піанино с желтыми зубами, нарядил своих карлов в средневѣковые костюмы, сам напялил фрак, сморщенный цилиндр и неуклюжія бѣлыя перчатки, вооружился корнет-а-пистоном, и в таком видѣ отправился на завоеваніе города. На перекрестках карлы должны были представлять, я — играть на піанино, а он — то дудѣть в кларнет, то орать в рупор, выхваляя карлов, как любимых артистов придворнаго театра.

Я встрѣтил эту процессію, когда она въѣзжала на Puerto del Sol. Эта очаровательная площадь, всегда живая, сердце города, теперь кипѣла на жарком огнѣ. Люди запрудили ее так, что яблоку негдѣ было упасть, стояли плечом к плечу, галдѣли, жестикулировали, обдавали друг друга табачным дымом, мучились от жажды, слушали пучеглазых ораторов, забиравшихся на возвышенія, и ждали не то сообщеній, не то событій. Всѣ говорили на три тона выше обычнаго, и даже природные басы кликушествовали тенорами. Площадь перестала быть площадью и казалась сараем, с котораго сняли крышу. Было в этом что-то муравьиное, и, с горных высот вѣроятно, — жалкое и смѣшное.

Я ощущал холодное, равнодушно отвратительное чувство, которое бывает у человѣка на чужих похоронах, и очень обрадовался, когда увидѣл, что к краю толпы подъѣхала директорская платформа. Люди, изумленые неожиданностью автомобиля, карлов и пронзительно пожарной нотой кларнета, смолкли, по-южному сразу, раскрыли рты, потом сильнѣе выдавили масло друг у друга и пропустили машину с той покорностью, с какой во времена оны Чермное море пропустило евреев. Директорская процессія поразила даже ораторов своей необычайностью и у всѣх, вѣроятно, пронеслась мысль, что это — неспроста и что процессія имѣет отношеніе к событіям и знаменует собою какой-то загадочный перелом. В стадо, которое задумало перемѣнить козла, въѣзжала группа молчаливых и зловѣщих карлов. Сверкали на солнцѣ пики, алебарды, шлемы, полосатые штаны папской гвардіи, накрахмаленные фижмы, поддѣльныя драгоцѣнности, начищенная под золото

мѣдь. Среди этого тряпья и бутафоріи печальными и равнодушными глазами смотрѣли на свѣт Божій какія-то дѣти с маленькими и жуткими личиками стариков.

Платформа остановилась посрединѣ площади, неподалеку от трамвайнаго павильона, с крыши котораго держал рѣчь нѣкій гражданин, остановившійся на полусловѣ.

Директор очень находчиво учел момент, с клоунской преувеличенной почтительностью снял цилиндр и обратился к нему с привѣтствіем:

— Добрый вечер, синьор!

Оратор, неожиданно поддавшись этому тону, отвѣтил, как-то кукурекая: —

— Добрый вечер, синьор!

И, почему-то, ударил шляпой по подошвам сапог.

Стало весело. Толпа зааплодировала. Кто не разслышал слов, подался ухом вперед.

Директор бросился к піанино, откинул крышку ногой (показалось, что ударил в живот) и изо всѣх сил, с мюзикхолльной удалью, ударил по клавишам. Старыя, очень подержанныя струны отвѣтили сначала хрипом и воем, но потом подтянулись и стали выводить что-то похожее на «Двуглаваго орла». Во время музыки толпа очнулась, чтото начала понимать. Какой-то озорник в лиловой жилеткѣ влѣз на крыло колеса и потрогал ногу карлицы Настасьи Григорьевны. Настасья Григорьевна притворилась, что ей наступили на мозоль, и три раза, держа ногу за пальцы, протанцовала вокруг самой себя. Было похоже на картинку из объявленій о пластырях, и опять толпа разразилась смѣхом. Лицо директора окончательно прояснилось, ибо он

исповѣдует ту истину, что хорошій смѣх — вожак успѣха. Піанино, покончив с маршем, начало подходить опять к чему-то знакомому, и, вдруг, всѣ карлы встрепенулись, почуяв в музыкѣ сигнал. Настасья Григорьевна, протянув руку с воображаемой кружкой, кокетливо приподняла юбку и вступила:

— Кому вина, проси скорѣй!

И хор карлов, напружив горла, отвѣтил скопческими голосами, по-русски, по-нѣмецки и по-англійски:

— Давай сюда, налей полнѣй!

Толпа забыла революцію, газеты, ораторов, мысль ея перестроилась, в глазах замелькали искры удовольствія и доброты, — и директор оказался властителем дум. Его глаза тоже перестроились и из неопредѣленно-возбужденных стали наглыми, фамильярными. Он понял, что он уже вошел в клѣтку, и звѣрь загипнотизирован. Как умен был Рим с теоріей хлѣба и зрѣлищ!

Пользуясь минутой сосредоточившагося к нему вниманія, директор снял наотмашь цилиндр, приставил ко рту рупор и заорал глухим, как из бочки, голосом:

— Синьорины, синьориты и синьоры, бородатые, бритые, с усами и безусые, лысые и кучерявые, старые и молодые, вѣрующіе и невѣрующіе! К вам пріѣхала труппа султана, который прежде возсѣдал на алмазном престолѣ, а теперь на огородѣ картошку копает за двѣ пезеты в день!

Грохот одобрительнаго смѣха.

— Зная, что дѣла плохи, на картошку неурожай, султан отдал мнѣ своего наслѣдника на воспитаніе и я, уважая Испанію, ея ум, лите-

ратуру и территорію, Альказар, Гренаду и Баб-эль-Мандебскій пролив, апельсины, мандарины, оливковое масло и шали, — я этого наслѣдника повернул в испанскую вѣру, — нѣт, не думайте, — не в Saecula saeculorum, а в особую настоящую испанскую вѣру. А именно! Протрите ваши шары и слушайте меня внимательно!

С искусственно мрачной рѣшимостью директор подтянул к себѣ чемодан и, надавив замки, раскрыл его надвое. Затѣм он запустил туда лапу и вынул сначала сѣрую игрушечную лошадку, а потом Васеньку в латах Дон-Кихота. Васенька сначала казался смущенным и невыспавшимся, а потом насторожился, замахнулся копьем, и всѣ поняли, что это — атака на мельничныя крылья. Затѣм он достал негритенка в костюмѣ Санхо-Панчо. Негритенок извлек из кармана бутылку и, запрокинув голову, начал лить в себя не то вино, не то розовый лимонад.

— Берегите карманы! — орал директор, — бойтесь чумы и привидѣній! При первых же заболѣваніях обращайтес к монахам-кармелитам!

Чѣм нелѣпѣе был набор фраз, тѣм толпа болѣе неистовствовала от восторга. Оратор, стоявшій на крышѣ трамвайнаго павильона, раскусил опасность положенія и кривил губы. Директор замѣтил это, испугался контр-атаки и перешел к дѣлу.

— Приходите же на спектакль, старые и малые, родившіеся и неродившіеся. Беременным солдатская скидка! Кто к нам в театр не ходит, тот человѣк дурной! Сейчас театр для вас, как мятная лепешка в іюльскій день! Итак, граждане, запишите у себя на штанах: цѣны революціонныя!

— Цѣны революціонныя! — запищали карлы.

Опять — энтузіазм. Что бы ни сказал теперь этот человѣк, все имѣло бы успѣх. Если бы дать ему задачу повернуть вспять все движеніе, осмѣять всѣ газетные заголовки и цвѣтныя прокламаціи, то, пожалуй, он и в этом бы успѣл. Люди разрядились, растерялись, и сразу стало понятно, что начало толпы — женское начало, и тут очень важно, прежде всего, поразить воображеніе. Какой талант трибуна вдруг блеснул в директорѣ! Я проникся к нему величайшим уваженіем.

Толпа дружелюбно и любовно разступилась, и автомобиль, как ледокол, медленно разрѣзал подавшееся ледяное поле.

Я пошел в Прадо. Шел густыми тѣнистыми аллеями, сохранявшими прохладу. Неподалеку от музея показались мраморные люди, то стоявшіе, то сидѣвшіе на высоких цоколях. Выраженіе их лиц было одинаково-величаво, как на всѣх вообще памятниках. В этих кварталах было пустынно, и казалось: вот тот мір, на который идет наступленіе со стороны Puerto del Sol.

С вокзала доносились паровозные свистки. Небо было сине ровной однообразной синевой. Я подумал, если синеву очень отдалить, то она пріятно несовмѣстимо свяжется с зеленью листвы. Остро чувствовался особенный вкус воздуха в Мадридѣ, совершенно непохожій ни на какіе другіе воздухи.

Кассир, стоявшій у турникета, посмотрѣл на меня с удивленіем. В музеѣ посѣтителей не было. Смиренно-монастырски работали копіисты, и у сторожей, как у музейных сторожей всего мі-

ра, на лицах была написана каменная, жесткая скука.

Пріятно и сладко знать в сложном лабиринтѣ особый таинственный ход, самим тобою выработанный. Так, за хорошим ужином, подготовляясь к шампанскому, люди пьют простоту обычных вин. Прохожу мимо нѣжных и избалованных Данай Тиціана. Как противоположность, вбираю в себя изысканность и преждевременное одряхленіе лиц Веласкеза. Вот сладостно-невѣрное зрѣніе Эль-Греко и конфетная фабрика Мурильо. А вот и она, цѣль моих странствій, мое шампанское: пятьдесят четвертая комната. Здѣсь висит портрет Дениз, нѣсколько сот лѣт тому назад написанный для меня Дюрером. Она — обнажена, по тѣлу разбросаны удивительные блики свѣта. Этот свѣт, как прикосновеніе мужского начала, неотрывно льнет к чувственности. Еще бы! Она родила весь человѣческій мір, эта Ева, родила, опозорила и навлекла на него грѣх, проклятіе и смерть.

Я замучиваюсь перед этим созданіем. Я не чувствую ни дрожи ног, ни взбаломученности всего моего существа. И вдруг суровый голос сзади:

— Вот уже час, как вы любуетесь моей дочерью. Это лестно, чорт возьми!

XXXII.

Юпитер сердится.

Оглянувшись, я увидѣл, что сзади меня, в великолѣпно-снисходительной позѣ, стоит отец Дениз, — Юпитер, как мысленно я его называл.

Что же, однако, случилось с этим богатѣйшим антверпенским купцом, сильно мнѣ подозрительным по работорговлѣ в Конго? Я не видѣл его мѣсяцев шесть —, Боже мой, какая разительная перемѣна! Смерть обгладывала его, как собака — кость. Смерть основательно принялась за этого человѣка. «Но вѣдь то же самое она продѣлывает и с тобой!» невольно пронеслось в головѣ. Разница заключается в том, что, глядя на себя в зеркало, не замѣчаешь постепенности и неуклонности уничтоженія своего собственнаго.

Борода Юпитера подрасла, как это часто бывает со вдовцами, выдавшими замуж свою единственную дочь, единственную свою на землѣ привязанность. Жизнь их теряет смысл, остается доживаніе, и они запускают бороду, начинают быть небрежными в одеждѣ, всюду разсыпают пепел, ѣдят рыбу ножом, руки у них начинают мерзнуть и дрожать, на глазах часто показываются безпричинныя слезы, память перестает принимать новые матеріалы. Усы Юпитера покрылись у ноздрей налетом табачной желтизны: очевидно, стал курить без мундштука. Кожа на носу стала тоньше, суше и начала походить на плохо-обработанный пергамент. Костяк черепа выпирал отчетливѣе. Отвисли и стали видны двѣ старческія складки под шеей. «Годика через два сыграет в ящик», подумал я, — «и с досады не велит возлагать цвѣтов на гроб».

— Вот неожиданность! сказал я, ощущая его просторную, емкую и сухую ладонь.

По рукопожатію я понял, что он относится ко мнѣ дружески и хорошо. Глаза его мягко и снисходительно улыбнулись, брови сначала за-

хотѣли сурово сморщиться, но потом перешли на линію юмористическую.

— Правда, она, эта Ева, похожа на Дениз, как двѣ капли? — спросил Юпитер с видимым удовольствіем, — только, вот, ногти на руках подгуляли. Обстрижены до мякоти. Но так, все остальное: посадка головы, лицо, волосы, глаза, — Дениз, — точная копія!

Я согласился.

— А почему вы здѣсь? — вдруг, допрашивающим тоном начал Юпитер, — вы пришли к Дюреру или к Дениз?

— И то и другое сливается в одном очарованіи, — отвѣтил я.

— Вы хотѣли бы имѣть эту картину у себя? — спросил Юпитер.

— Еще бы!

— Тогда я вам подарю ее! — сказал Юпитер.

Я насторожился и не без тревоги взглянул ему прямо в глаза: нѣт ли там каких-нибудь подозрительно-пробѣгающих и не особенно логических тѣней?

— Эта картина принадлежит вам? — вмѣсто благодарности спросил я невинным тоном психіатра, изслѣдующаго подозрительнаго паціента.

— Эта картина мнѣ не принадлежит,— отвѣтил спокойно Юпитер, — но через мѣсяц она будет мнѣ принадлежать.

— Ага! отвѣтил я, — я понимаю теченіе ваших мыслей. В Испаніи началась революція и вы надѣетесь, что через мѣсяц революціонное правительство приступит к распродажѣ музейных сокровищ...

— Теченіе моих мыслей совсѣм иное и ни на какое революціонное правительство я ника-

ких надежд не возлагаю, — отвѣтил Юпитер солидно, — теченіе моих мыслей — болѣе просто. В странѣ, создавшей образ Санхо Пансо, должна существовать приличная категорія мошенников и людей ловких, — это все, что нужно для дѣла. Монеты имѣются, а Санхо Пансо мы найдем. Дайте мнѣ ваш твердый парижскій адрес и к зимѣ эта картина будет у вас. Вѣшайте ее так, чтобы свѣт был слѣва, — тогда, вот, эти блики будут жить... Конечно, когда она будет у вас, об этом не нужно давать в газеты публиситэ.

— Почему? — опять невинно спросил я.

— Потому, что вы тогда и сами в тюрьму попадете, да и меня, того гляди, на старости лѣт туда же приправите.

— Вы собираетесь совершить поступок, противный законам?

— Разумѣется. Я собираюсь завладѣть картиной.

— Простите, — сухо отвѣтил я, — но я не принимаю в подарок вещей украденных.

— Ну, и чорт с вами, не надо, — отвѣтил Юпитер, — я ее сберегу для себя. Я люблю Дениз по настоящему и уже тридцат лѣт цѣлюсь на этого Дюрера. Теперь началась революція, пойдет кавардак, тут и надо ловить рыбу.

Юпитер вдруг презрительно улыбнулся в пожелтѣвшіе усы и добавил:

— А мнѣ иногда казалось, что в вашей душѣ живет впечатлѣніе от Дениз. Я очень рад, что вы меня разочаровали. По крайней мѣрѣ, у меня совѣсть будет спокойна.

— А у вас совѣсть была неспокойна? — спросил я.

— И очень даже. Я думал, что и у вас она не пребывала в полном спокойствіи.

— Моя душа не была спокойна, — отвѣтил я, — но совѣсть чиста.

— Странная у вас совѣсть, — сказал Юпитер, — во всяком случаѣ — современная совѣсть.

— Я вас не понимаю и попрошу объясниться.

— Сейчас объясняться с вами у меня нѣт ни охоты, ни времени, — отрѣзал Юпитер сердито, — скажу вам одно, что в наше время мы не заманивали приличных и неопытных дѣвушек в подозрительные отели.

— А я? Я их заманивал?

— А вы их заманивали. Дениз не была у вас в отелѣ, когда вы уѣзжали из Антверпена?

— Была

— Она вас не отвозила на автомобилѣ на пограничный вокзал?

— Отвозила.

— Она вас не цѣловала на прощанье?

— Цѣловала.

— Что все это значит?

— Ровным счетом ничего.

Юпитер обдал меня холодно-свинцовым взглядом и вышел из пятьдесят четвертой комнаты. Он был явно и недоброжелательно возбужден и я, тоже взволнованный, с неожиданным обинительным актом в душѣ, послѣдовал за ним Что за чушь? Что свалилось на меня?

В какой-то комнатѣ стоял большой бархатный диван для отдыха посѣтителей. Я схватил Юпитера за рукав и потянул его к этому дивану. Юпитер, не сопротивляясь, сѣл.

— Слушайте, — сказал я, — я требую точнаго и яснаго объясненія.

— Извольте, — отвѣтил Юпитер, — я готов его вам дать.

— Что случилось?

— Вы разбили жизнь молодой и неопытной дѣвушки, — вот и все, что случилось.

— Клянусь вам, что я ничего не понимаю.

— Вы не больны ослабленіем памяти? — иронически спросил Юпитер.

— Отнюдь.

— Вы помните ваш визит ко мнѣ, в мой антверпенскій дом?

— Отлично помню и сохранил о нем на всю жизнь самое благодарное воспоминаніе.

— Вы отлично отблагодарили меня! — сказал Юпитер и в тонѣ его была яркая и подчеркнутая благородная укоризна.

— Но чѣм я провинился перед вами?

— Передо мной? — Ничѣм. Но перед Дениз — да.

— В чем? Прошу сказать точно.

Юпитер отвѣтил не сразу и перевел дух.

— Дорогой мой! — мягко сказал он, — я все понимаю на землѣ: и любовь, и уваженіе, и простую страсть. Я только не понимаю лжи. Я вас не зову на дуэль, я не подвергаю вас проклятіям, я ничего от вас не требую. Я только удивляюсь: зачѣм вы строите на вашей физіономіи это притворное непониманіе, эту удивительную забывчивость и эту святую простоту? Одним словом, сейчас же послѣ вѣнца, Дениз призналась своему мужу во всем. Меня удивляет только одно обстоятельство почему она не сказала ему об этом до вѣнца? Тогда не было бы никакой трагедіи.

— В чем она ему призналась, чорт возьми, — воскликнул я, — и какое я имѣю к этому отношеніе?

— Ну, дорогой мой, с вами разговаривать невозможно. Не могу же я, отец, называть нѣкоторыя вещи их собственными именами? Но нѣкоторыя вещи их собственными именами я назову. Вам угодно?

— Очень прошу вас.

— Вы — не джентльмен, вы — не рыцарь, вы — не артист, — отчеканил Юпитер. — Простите: вы приказчик из галантерейной лавки. Это — не укор: я уважаю всякій труд. Это — квалификація. Вы удовлетворены?

— Я буду удовлетворен только тогда, когда вы и мнѣ позволите назвать нѣкоторыя вещи их собственными именами.

— Пожалуйста, — величественно отвѣтил Юпитер и ожидательно вставил в правый глаз монокль.

— Кто на меня налгал, я не знаю, — отвѣтил я, — зачѣм это нужно и кому — тоже не понимаю. Но, если это сдѣлала Дениз, то я вас поздравляю: яблочко от яблони упало неподалеку. Она — такая же мошенница, как и вы.

— А вы меня трактуете, как мошенника? — спросил Юпитер удивленно.

— Я думаю! — воскликнул я в негодованіи, — вы только что собирались красть картину из музея!

— Ах, простите, я и забыл об этом! Les affaires avant tout — виновато сказал Юпитер и дѣловито, сразу забыв обо мнѣ, поднялся с дивана.

Я изумленно послѣдовал за ним. Первый раз в жизни я видѣл такого человѣка.

Он шел гордо и величаво. С ѣдкой и всевпитывающей жадностью всматриваясь в лицо каждаго сторожа, Юпитер бормотал про себя оцѣнки, из которых до меня долетали кое-какія, в родѣ слѣдующих:

— Идіот. Груша. Грыжа. Ханжа. Безнадежен.

Он был похож на полководца, собирающагося в сраженіе и оцѣнивающаго свой боевой матеріал.

Произведя инспекторскій смотр сторожам, Юпитер, забыв, видимо, весь наш предыдущій и непріятный разговор, снова довѣрчиво обратился ко мнѣ с такой символической репликой:

— Здѣсь воды не найдешь. Надо рыть колодец в другом мѣстѣ.

Потянуло пустыней, песками. Этот человѣк имѣл какое-то таинственное отношеніе к Африкѣ. Нѣт дыма без огня.

— Теперь я вас попрошу оставить меня! — сказал он, опять неожиданно — подружески пожал мнѣ руку и направился в ту часть музея, гдѣ развѣшены картины Гойя.

XXXIII.

Козел отпущенія.

Есть в русском языкѣ прилагательное: ошарашенный. Именно ошарашенным я вышел из музея. Все было ясно: богатая, избалованная и распутная дѣвчонка покрыла мной, как козлом отпущенія, свои грѣхи. Болѣе подходящаго и удобнаго случая она не могла найти. Чудаковатый музыкант, иностранец, случайный гость, как нельзя болѣе подошел к ея случаю. Она при-

творяется взволнованной, с наигранным институтским восторгом слѣдит за ним, когда он выколачивает на ея Бехштейнѣ свою шалую и никому не нужную симфонію, привѣтствует его специальным обѣдом, на котором учится ѣсть черную икру, и послѣ кофе упрекает его за то, что он играет ей печальный вальс, который Шопен сочинил ко дню свадьбы дѣвушки, которую любил и которая вышла за другого... О, тонкости женскія, лживыя, хитрыя, намекающія тонкости! Потом, перед отъѣздом является к нему в отель, зная, что за ней слѣдят, и сидит у него около часа; в это время его поѣзд уходит и она на автомобилѣ вмѣстѣ с ним мчится на пограничную станцію, цѣлуется на прощанье (свидѣтели — у багажной конторы!) и потом меланхолически машет ручкой... Какая ловкая, изобрѣтательная инсценировка!

Обольститель скрылся навсегда, а невинная, неопытная жертва льет слезы покаянія. Гдѣ-то есть и скрывается третій радующійся, который, благодаря всѣм этим обстоятельствам, выходит сухим из воды.

У этой двадцатилѣтней очаровательной дѣвушки — холодная и ясная европейская голова. Наша русская дѣвушка, пожалуй, не способна на такія махинаціи.

Что же мнѣ дѣлать? Отец ея, Юпитер, — явно зол и не мнѣ привести его к истокам добра и благодушія. Я бы тоже на его мѣстѣ был зол. Но он обдает меня презрѣніем, относится ко мнѣ, как к проходимцу, как к скрипачу из румынскаго оркестра, — это меня приводит в безсильное бѣшенство.

Я готов всячески служить тебѣ, очаровательная дюреровская Ева. Я готов покрыть твой

грѣх. Но не надо бить лежачаго, не надо валить на меня, как на мертваго. Если бы ты предупредила меня, я бы на все пошел. Но я не был бы Іудой, я бы не отрекся от тебя и не называл бы тебя лгуньей и мошенницей.

А это было так тяжело и больно и преступно, хотя, я знаю, что за такія преступленія не казнят ни на одной из французских площадей. Я привык думать о тебѣ, ни на что не расчитывая, даже на простую встрѣчу. Как писали в сороковых годах, я носил в душѣ твой образ, послѣдній образ, который по-тургеневски волновал меня и давал содержаніе моей жизни. Может быть, в этом было много надуманности и нарочитости, которыми очень часто бывает полна русская любовь, одна из самых тяжелых в мірѣ, но это было так и я, с сѣдыми волосами на висках, часто просил Бога, чтобы он послал во снѣ видѣніе тебя. Ты была моим потайным фонариком, при свѣтѣ котораго жизнь казалась мнѣ имѣющей, все таки, смысл, хотя и не вѣрный. Так, во времена оны, монахи влюблялись в мраморных Мадонн.

А теперь, если твой всемогущій отец украдет из музея твой портрет и отдаст его мнѣ. (Какая утонченная пытка! Как это характеризует человѣка!), то я не посмотрю на подписи Дюрера, сверну его в трубку и варварски брошу в огонь. Я буду рад видѣть, как легко вспыхнут старыя краски и холст и как твои черты, твои глаза, румянец щек, очаровательныя линіи плеч и шеи будут коробиться и превращаться в пепел.

Я помню твой визит, из котораго ты сотворила преступленіе. Ты разбудила меня стуком в дверь. Я думал, что это стучит мальчишка в

кукольной курточкѣ, пришедшій за моим чемоданом. Сам я был под властью страннаго сна, главную роль в котором играл твой отец. Из нелогичности, которая с трудом удерживалась в головѣ, трудно было перейти к простотѣ электрическаго свѣта, к кровати, которая видѣла преступленій больше, чѣм плаха, к вытоптанном ковру, на котором еще старались цвѣсти веревочные тюльпаны. Я так растерялся, увидѣв тебя. Я вспомнил, что у меня — заспанное лицо, невыбритые усы и щеки, развязанный галстук, потрепанный в узлѣ, рубаха с порванными петлями, вылѣзающая из-за пояса, недопитая и незакупоренная бутылка барзака и ломтик сыра в промасленной бумажкѣ. Я не знал, что мнѣ дѣлать, и ты меня спросила:

— Когда вас навѣщают дамы, вы не приглашаете их сѣсть?

Я бросился со всѣх ног и неловкими движеніями схватил с ковра кресло на старомодных колесиках и с очень смѣшной, поголландски чистой, салфеткой для головы.

Тебя смѣшило и в то же время было лестно мое треволненіе, в котором уже не дѣтским умом ты распознала сѣть смутных и неискусно скрываемых мужских чувств.

Ты вынула из сумки зеркальце, переплетенное в змѣиную кожу, и дала его мнѣ, чтобы я мог сам посмѣяться над своей растрепанностью. Зеркальце было маленькое и мнѣ пришлось в него клевать глазом, сначала правым, потом лѣвым, потом занести его в сторону, чтобы разсмотрѣть, как смѣшно, по дѣтски, торчит на темени пук волос. Я их пригладил и ты смѣялась над моей неуклюжестью и неловкостью.

С зеркальцем в руках можно дурачиться и

вести самыя веселыя рѣчи и, будь на твоем мѣстѣ другая дѣвушка, я бы так и сдѣлал: я бы старался найти пути к сближенію, к молоточкам первых, запретных звонков. Я смутно догадывался, что звонки уже наигрывали в тебѣ свой неотчетливый перезвончик, но отогнал зародыш этой догадки и увѣрял себя, что ты — моя маленькая сестра. Это было радостное насиліе над собой, то самое, которое оставляет в душѣ нѣжный, туманный и никогда не забываемый слѣд.

Случайно начался дѣловой разговор. Так как ты в домѣ была баловницей, то всѣ твои желанія считались законами. Это отлично понял мой директор и, под каким-то благовидным предлогом, выманил у твоего отца значительную сумму денег. Я чувствовал в этом свою невиноватую вину и сказал, что деньги эти, так или иначе, будут возвращены. От тебя повѣяло холодком, тебѣ был непріятен этот разговор и ты обрадовалась, когда я разсказал тебѣ только что видѣнный сон. Змѣи? К непріятностям. Музыка? К новостям.

Мало по малу мнѣ стала надоѣдать фальшивая линія старшаго брата: и ход крови, и лучи глаз были неродственными. Мнѣ казалось, что я понимаю их диктовку и, вот, пересохшим горлом, голосом, перемѣнившим тембр, я вытянул из себя неуклюжія слова, сказавшія глупую фразу: «Чувствую, что в меня по невидимой леечкѣ вливается яд влюбленности».

Это было самое смѣлое, что я сказал тебѣ. Мнѣ показалось, что над моей неуклюжестью засмѣялась вся комната: и лампа, и твое кресло, и тюльпаны на коврѣ, и даже сыр вылѣз из промасленной бумажки и скроил какую-то осмысленную блѣдную рожу.

Признаніе в начинающейся влюбленности не вызвало в тебѣ ни раздраженія, ни досады. Ты его ловко и дипломатически замолчала. Кто же на моем мѣстѣ мог бы предположить тогда, что в твоей чистой гимназической, седьмого русскаго класса, головкѣ ворошатся предательскія мысли? Ты разговора не поддержала, но в задних планах глаз пронеслись тѣни, мнѣ благосклонныя.

Выручил нас грумм, пришедшій за чемоданами. Чемоданы были тяжелы и мальчишка спускался по ступенькам боком, выставляя первой правую ногу. Мы шли за ним, я смотрѣл на тебя и думал: сколько в ней чистоты! Дѣвушка, приходившая в гостиницу к одинокому человѣку, могла бы смутиться: консьержи и кассиры всегда проводят ее почтительно-безстыжими взглядами. Ты же шла, как по лѣстницѣ церкви или своего родного дома, и в этом отсутствіи грязных тревог было то невозмутимое, не от міра сего, спокойствіе и негрѣховность, какое бывает у ангелов, когда им приходится ходить по грѣшным дорогам. Выйдя из отеля, ты не посмотрѣла с безпокойством ни направо, ни налѣво, не спѣша подошла к своему автомобилю, около котораго, как игрушечный солдатик, с надписью на круглой шапочкѣ, стоял грумм, уже вышколившій на своей свѣжей мордочкѣ профессіональную и порочную безстрастность.

Кто же мог подумать тогда еще раз, что в твоей головкѣ, под этими тонкими и добрыми волосами, за этой чистой и туго, без единой морщинки, натянутой кожей бродят и по-одесски что-то комбинируют поганыя и предательскія мысли? Со своей линіей старшаго брата и архиглупой леечкой влюбленности я превращался в

бандита, в галантерейнаго соблазнителя и насильника. Ты, навѣрное, знала, что гдѣ-то из-за угла за тобой слѣдит твой ревнивый жених, кокорому ты потом разскажешь, что твое дѣвическое несчастье случилось здѣсь, что здѣсь ты носила на себѣ свою самую дорогую рубашку?

Автомобиль был превосходен, рессоры — чудо техники, и когда мы улицами и закоулками, прижимаясь к тротуарам, выбрались за город и там пустили во всю своих невидимых восемнадцать коней, то мнѣ в первую минуту представилось, что это мчатся русскія сани. Но когда я открыл глаза и увидѣл затянутое сѣрой пленкой безглазое небо, невѣроятно унылый под колпаком простор и под ногами — безконечную линію скользкаго асфальта, то очарованіе Россіи пропало и только ты одна радовала меня, моя путеводительница, моя Афродита. Ты твердо держала колесо правленія, дикая машина подчинялась тебѣ радостно, глаза прорѣзывали заградительное стекло далеким и отчетливым током и то, что в этот момент из них исчезло все женское, расплывчатое и нерѣшительное, казалось особенно плѣнительным.

Мы настигли неторопливый и дешевенькій поѣзд, со множеством дверей в вагонах, в котором ѣхала наша труппа. Нас увидѣли карлы, на лица которых уже легла вагонная блѣдность, узнали, удивились, обрадовались. Паровоз походил на загнанную собаку, и как-то особенно убого, ревматически, двигал своими поршнями. Наш легкій звѣрь обогнал его презрительно.

Исторія с директором меня бѣсила. Я придумал трюк, при помощи котораго можно было вызволить обратно деньги, взятыя им у твоего отца. Надо было, чтобы ты согласилась разыг-

рать роль моей невѣсты. Директор на это клюнет, ибо какія-то там десять тысяч — ничто в сравненіи с перспективами, которыя выдвигает моя женитьба.

Ты стала моей театральной невѣстой и отлично играла свою роль: перешла со мной на ты, смотрѣла на меня глазами, в которых поочередно смѣнялись то чистота, то напряженная грѣховность. Когда пришел перегнанный нами поѣзд и стал у окон, загородив свѣт, ввалились в зал лилипуты, и как директор удивился нашему «ты»! Конечно, он учел перспективы моей женитьбы, конечно, сейчас же отсчитал деньги и отдал их тебѣ для передачи отцу! И, конечно, всѣ мы пили шампанское и по-русски ѣли соленый миндаль.

А потом, на прощанье, ты по-невѣстиному поцѣловала меня и я сейчас еще ощущаю легкій обвив твоей руки вокруг моей шеи. Неужели и тут был соглядатай?

О, если бы я мог найти тебя, Дениз! Я бы теперь внимательно разсмотрѣл твое лицо, его движенія, фальш той глубокой сцены, которая построена в двойном театрѣ твоих глаз, фальш изгибов рта, натянутость змѣиной кожи и на твоем зеркальцѣ и на твоем лбу!

XXXIV.

The song I love.

Пребываніе в испанском отелѣ всегда связано с полным пансіоном. Ѣсть не хотѣлось, но вдруг вспомнил о винѣ и часа в два пошел в столовую. Кормленіе звѣрей давно уже окончилось, кліенты разошлись, по столам валялись

салфетки, пепельницы были полны, пахло кухней, луком и жареным маслом.

Гарсон подал кусок бѣлой рыбы с зеленым салатом, и я невольно разсмѣялся, вспомнив грузинскую пѣсенку: «шишлики не надо, чуреки не надо, кахэтинскій вино не надо». Впрочем, нѣт: вино надо, — и я спросил краснаго аликантэ 1928 года: знаменитый год по крѣпости и аромату винограда. Оно густо, как молоко, и, стекая по стѣнкам посуды, оставляет маслянистые слѣды. Какое это очарованіе: вино! Какое волшебство! Пьяницы — самый неблагодарный народ на свѣтѣ: они до сих пор не удосужились поставить памятник праотцу Ною! Вино еще не опустилось до выпуклости дна, как я уже сдѣлался другим человѣком. Мысль стала смѣлой, сердце — холодным. Исчезли точки, запятыя, остались одни восклицательные знаки. Дениз? Да пропади она пропадом, эта дрянная дѣвченка! Что мнѣ Гекуба и что я Гекубѣ? У царя Давида было кольцо с надписью: «все проходит»; пройдет и это мое отвратительное состояніе! И снова будут на небѣ смѣяться солнце, и горѣть звѣзды, и цвѣты попрежнему издавать свой аромат, и снова будет любовь! Кто сказал, что женщины похожи на трамвай? Этот пошляк был прав: один вагон уйдет, другой подойдет. «Полно, брат молодец, ты вѣдь не дѣвица: пей, тоска пройдет».

— Еще бутылку 1928 года!

Гарсон преисполнен ко мнѣ благоговѣйнаго уваженія. Он служит мнѣ, как знаменитому человѣку, достойному самаго высокаго уваженія, и говорит:

— Двѣ бутылки этого вина может одолѣть только синьор Ортега.

— Что за человѣк этот Ортега?

— Это, синьор, самый знаменитый матадор Испаніи.

— Да здравствует Ортега! Чего-ж ты не берешь стакана? Развѣ можно не выпить за здоровье самаго знаменитаго торреадора?

Лакей подставляет стакан, — и мы пьем вмѣстѣ, и я вижу, как сразу полымем розовѣют его щеки и уши и как глаза наливаются доброжелательством ко мнѣ. Он вдруг подбѣгает к окну, отворяет его и вопросительно смотрит на меня.

— Вы слышите, синьор?

— Ничего особеннаго, — отвѣчаю я.

— Это-же легкій запах гари!

— На кухнѣ, вѣроятно, палят свинью к обѣду?

— Нѣт, синьор. Это горит монастырь Св. Доминго.

— Что это — случайность или революція?

— Это революція, синьор.

— Закрой окно: это мнѣ ни о чем не говорит.

Глаза гарсона блещут удовольствіем и радостью. Легким прыжком он носится по столовой. Он ждет одного: покончить возню с завтраком и побѣжать на революціонный пожар. Я его понимаю: такія впечатлѣнія бывают в жизни не каждый день. Но меня никуда не тянет. Я прирос к этой бутылкѣ и она молча исцѣляет меня, как самый опытный врач. Дениз для меня теперь — самая обыкновенная, банальная дѣвица. Одним разочарованіем больше или меньше, ну, и — слава Богу! За все — слава Богу! За ум и за безуміе, за любовь и за отвержен-

ность, за сладкое и за горькое, за талант и за простое умѣніе!

— Я вас не понимаю, синьор! — говорит гарсон, склоняясь ко мнѣ

— Еще бы ты мог понять меня, — отвѣчаю ему, — когда я говорю по-русски.

— В наших школах не преподают русскаго языка, — говорит он, — а жаль. Надо бы знать язык, который теперь несет свѣт всему міру!

Наконец, тарелки убраны, стаканы составлены в одну кучу, пепельницы опорожнены и он исчезает, этот вертлявый и добродушный малый, видимо, уже пріобщившійся к свѣту, который истекает из Россіи и который теперь благоухает такой сладковатой гарью: так пахнет горящая бумага; вѣроятно, кончает свою жизнь монастырская библіотека.

Я остаюсь, в одиночествѣ, чешу переносицу и вдруг вижу, что у меня есть визави и что он тоже чешет переносицу. В глубинѣ сознанія какая-то еще не пьяная клѣточка доказывает, что это — обыкновенный фокус зеркала, но все пьяное требует, чтобы собственное изображеніе я принял за другое лицо и, почему то, непремѣнно за испанца. Я встаю, чинно кланяюсь и говорю ему:

— Буона діэс, синьор. Мы с вами остались одни. Глупый гарсон побѣжал смотрѣть и радоваться, как горит библіотека. Простим ему: не вѣдает, что творит. Вы любите, синьор, аликантэ? Оно похоже на наше сантуринское, которым промышляли таганрогскіе греки. Помните сорт, который на ярлыках назывался: сладимое. Его очень любил мой отец. Вы кричите: in vino veritas? Я —тоже. У вас — глаза кролика? У меня — тоже. Мы с вами подружимся. Дениз?

Знать не знаю, вѣдать не вѣдаю. Что? Я похож на длинноухаго осла? Вы — тоже. Дуэль? Пожалуйста. Вы — опереточный испанец, который, как у Оффенбаха, grandira. А я — Калуцкой губерніи, у Оки. По сосѣдству с Алексиным. Вам нравится, что горит библіотека? Пожалуй, вы правы. Чтоб зло пресѣчь, нужно всѣ книги взять и сжечь. Кромѣ одной гранки. Кромѣ первой главы Бытія. В ней — ключ. Ключ к чему? Этого вы никогда не поймете вашей опереточной головой. Пейте, пожалуйста, вино. Ваше драгоцѣнное, синьор!

Испанец похож на меня, повязан моим галстуком, носит такую же, как моя, жакетку, таким же невѣрным жестом сует горлышко бутылки в стакан, так же по свински дѣлает красныя пятна на скатерти и так же засыпает их солью. Потом дѣлает мнѣ жест ручкой, встает из-за стола и исчезает. Куда? Неизвѣстно. И чорт с ним.

Лично я иду в театр. Иду, чтобы повидать директора и наговорить ему тысячу непріятных истин о том, как глуп был его сегодняшній выѣзд, что он ничего не даст, что сбора все равно не будет, ибо какой же дурак соберется смотрѣть на карлов, когда горит св. Доминго?

На улицѣ слышнѣе пожарная гарь. Тяжело поднимается к небу черное, вонючее и тяжелое облако. По направленію к нему со всѣх сторон мчится радостно-очумѣлая толпа. Только на углу испуганно, маленькими и узенькими католическими крестиками, с лѣваго плеча на правое, крестится какая-то костлявая старуха. Я подхожу и цѣлую ее. Она понимает меня, эта старая, мудрая самка, и вцѣпляется мнѣ в рукав, наклоняет меня и что-то — прямо в ухо, быстро

говорит, и из всѣх ея слов я понимаю только одно: «синьор». Барабанная перепонка моя звенит от остроты ея интонацій и, кажется, что гудят тысячепудовые колокола.

На подъѣздѣ театра, среди колонн и афишных щитов, маячит фигура директора. Он тревожен.

— Ты что? — спрашиваю я, — боишься, что огонь перекинется на театр?

— Чорт с ним, с театром! — отвѣчает он, еще не замѣчая, что я — пьян, — а вот костюмы, бутафорія, реквизит...

— Плюнь на это барахло! Все проходит.

Директор тревожно берет меня за руку и говорит:

— А ну, дыхни! Пьян, как фортепьян.

Смотрит на часы и успокаивается: до вечера еще далеко. Потом под руку ведет меня сложными переходами, предупреждает о ступеньках, неожиданно вталкивает в темную конуру, исчезает, и я слышу, как с внѣшней стороны двери защелкивается замок. Я — один, арестован. Опускаюсь на какую-то кушетку: мягко, звенят пружины, хорошо. Слышен запах застоявшагося табаку и гримировальнаго карандаша. Особенность, дневная театральная удаленность и тишина.

Минут через десять снова возня у замка, два поворота ключа, вспыхивает свѣт и на порогѣ показывается директор с толстым сифоном под мышкой.

— Вода сельтерская, пей! — командует он и спрашивает, — в чем дѣло? По каким причинам намочил морду?

Я не знаю, откуда у меня берется легкость признанія и я, как другу, разсказываю ему все

о Дениз, о себѣ, о любви, о тоскѣ, о том, как мнѣ теперь хорошо, спокойно и легко.

— Сплошной цыганскій романс, — говорит директор насмѣшливо и не без злобы, — и дальше?

Я отлично понимаю, что это все и в самом дѣлѣ похоже на пошловатый цыганскій романс, почему-то говорю о кисейных занавѣсках на окнѣ, о канарейкѣ в клѣткѣ и о том, как я благодарен вину, которое исцѣлило меня и облегчило душу и вдруг вижу, как лицо директора омрачилось уже настоящей злобой.

— Так ты поэтому и запьянствовал? — заговорил он вдруг с внезапно нахлынувшей страстностью, — ты вином хочешь выгнать из сердца любовь? Брешешь! Не выгонишь! Не позволю! Без любви тебѣ грош цѣна! Без любви ты не сыграешь даже «Дунайских волн»! Я знаю, как держать тебя в руках, прохвост, раб, идіот!

Мнѣ смѣшно и озлобленіе и перекошенное лицо. Я смѣюсь счастливым, животным смѣхом, как смѣется человѣк, выздоровѣшій от тяжкой болѣзни, и не понимаю, куда снова с такой живостью устремляется директор, тушит свѣт и азартно два раза щелкает ключом. Легкая дремота охватывает меня, я чувствую себя освобожденным и от земли, и от неба, и от революцій, и вообще от всей человѣческой кутерьмы. Около меня — театральныя невѣдомыя тѣни, актерская закута, мнѣ легко, я один, как в гробу, сердце работает с радостной готовностью, аппарат сна — к моим услугам и в голосѣ, вмѣстѣ петель, сладкая теплота.

Но вот, опять поворот ключа и опять появ-

ляется директор. В руках у него странный, черный ящик, который он устанавливает на столѣ.

— Зажги огонь! — говорю я, желая разсмотрѣть ящик.

— Огонь тебѣ вреден, прохвост, — отвѣчает директор, — лежи в темнотѣ.

Что-то скребет, как мышь ногтем, какая-то возня, шипѣніе, и вдруг, слегка шепеляво и неточно, заиграл саксофон, за ним двѣ скрипки и потом вступил мягкій и вкрадчивый человѣческій голос: я знаю, что это Яков Смит запѣл «The song I love».

Тихохонько, как басовитый старик, тянет на нижних нотах саксофон. Робко подыгрывают двѣ скрипки. Якову Смиту грустно и сладко пѣть о любви, о той самой, которая сейчас замерла у меня под сердцем.

Кончил Яков Смит и опять через секунду начал то же самое, как будто придвинулся ко мнѣ поближе.

— The song i love...

Вспыхивает предательскій свѣт и злобные, удовлетворенные глаза директора смотрят прямо на меня.

— Что? Пустил слезу, подлый? Вот и отлично. По крайней мѣрѣ, будешь работать хорошо. Сегодня — полный сбор.

— Потуши свѣт! — прошу я.

Свѣт гаснет и в комнату входит серебряное видѣніе молодой дѣвушки, дюреровской Евы... Сад, цвѣты, тюльпаны на высоких стеблях. И хорошій, райскій вѣтерок... И нѣт лжи.

XXXV.

Скандал в благородном семействѣ.

Спектакли в Испаніи начинаются поздно, часов в десять. К этому времени я выспался, снова пришел в этот мір и прежде всего ощутил томноту, и потом — оглушительную головную боль. Пульс работал грубо и приводил в движеніе какое-то долото, с точностью хронометра гвоздившее меня по темени. Попробовал закурить, но, как при морской качкѣ, не мог вынести сладковатаго американскаго дыма. Папироса упала на пол и зловѣще свѣтила своим мутно-багровым остреем. Мелькнула мысль: «А вдруг пожар?» — и вдруг кто-то лѣнивый, ко всему безразличный и все на этом свѣтѣ потерявшій отвѣтил: «ну и чорт с ним». Было все равно: пожар, землетрясеніе, потоп, революція, страшный суд. Мнѣ не хотѣлось вставать, ходить, двигать руками, утруждать глаза пріемом зрительных впечатлѣній. Казалось, что я перенес тиф и было странно: волосы не обриты, ногти до мякоти не подстрижены. Без всякаго гнѣва я вспомнил, как директор посадил меня в актерскую кутузку, как он отпаивал меня сельтерской водой и потом на граммофонѣ наигрывал сентиментальныя англійскія пѣсенки и этим путем старался снова вселить в меня любовь, странную, глупую и какими то смѣшными, но несомнѣнно русскими кривыми путями пришедшую и в конец замучившую. Казалось, что в сердцѣ вырос зуб и протяжно ноет и болит, и нѣт от него никакого спасенія.

— Ни читать, ни писать, и ни по полю ска-

кать, — почему-то вспомнилась мнѣ дѣтская пѣсенка.

Года два тому назад я отдавал перебить пух в моей маленькой русской подушкѣ, моей вѣчной спутницѣ. Прачка, занимавшаяся этой работой, принесла мнѣ старый русскій серебряный двугривенный, который она нашла в этом пуху. Очевидно, мнѣ положила его на счастье или мать, или нянька Федосья. Двугривенный почернѣл, еле была видна цифра и край орлиных крыльев. Может он окажется чудотворным? Я отыскал его в запасном отдѣленіи кошелка и приложил к сердцу. Образовался на тѣлѣ холодный кружок и полегчало.

Начала работать память, которая представляется мнѣ мѣшком с хитрой старушкой внутри. Старушка, если захочет, то может оказать большія услуги. Скажет, например, с ярославским акцентом:

— Ну, милый, мало ли любвей было на твоем вѣку? Зуб вѣчно не болит. Поноет и перестанет. Позудит и перестанет.

Шаги. Чувствую в них директора. Поворот ключа. Рожденіе всегда готоваго, не разгорающагося, спрятаннаго в колпачкѣ огня.

— Это — твоя ложа, — сообщает директор, не смотрит на меня, и почему-то в его тонѣ звучит довольная насмѣшка: — Вот твой чемодан, а вот, на палкѣ висит твой великолѣпный фрак. Я нарочно устроил его так, чтобы отвисѣлся. Ты удивительно не умѣешь укладывать вещей. Все смято и помято. Полежи еще часок и пожалуйте бриться. Почти все продано. Остались только бутаки по четырнадцать пезет. А теперь изволь принять в свою утробу вот этот чернослив.

Он сыплет в стакан розоватую пудру, заливает ее из сифона, и я вижу, как в трубкѣ прыгает пузырчатая вода. Порошок шипит, вода шипит и все это похоже на зажженную бертолетовую соль. Я начинаю пить с осторожностью, но вдруг чувствую острое наслажденіе, глотки дѣлаются жадными и большими и я ловлю послѣднія капли.

— Так ты влюблен? — спрашивает директор.

— Нѣт.

— Так ты же мнѣ час тому назад признавался.

— Я люблю.

— Ага! Оттѣнок. Он любит. Он — поэт.

— И дурак.

— И дурак, конечно. Тебѣ уже сорок пять лѣт. Что прилично Юпитеру, то неприлично быку. Впрочем, это поможет тебѣ хорошо дирижировать. Веди оркестр с влюбленным сердцем. Тогда публика скажет: ай, молодца, широка лица, глаза узеньки, нос — пятка.

— Развѣ я похож на калмыка?

— Калмык — не калмык, а что-то татарское есть. Как у всякаго русскаго.

— Принеси кипятку, буду бриться.

Я знаю, что сегодня директор способен быть у меня на побѣгушках. И, дѣйствительно, он срывается с мѣста и через пять минут у меня на подзеркальникѣ дымится мутноватым паром горячая вода. На щеках появляются горбы мыла, бритва шелковисто шуршит и пріятно обжигает щеку. Я опять ощущаю возвращеніе в мір и в то же время — острый и услужливый нож в руках. Когда проводишь им под шеей, он всегда вѣжливо спрашивает: «а не пора-ли полоснуть?»

Странно, в то время, как мозг — рѣшителен и, как математик, точно взвѣшивает всѣ за и против, — рука труслива, трепещет и боится и мнѣ кажется, что у ней — свой ум, гдѣ-то под ногтями. Правая рука меня больше любит, чѣм голова. Она вѣрно берет вещи, хорошо разсыпается по роялю, прекрасно приказывает музыкантам, у нея есть свои слова, своя рѣчь, то мягкая, то повелительная. А верхній дурак, что за черепной коробкой, каркает, как злой попугай.

Директор смотрит, как я облекаюсь во фрак, и вдруг безсмысленно говорит:

— Птичка кушает на вѣткѣ, папа чистит апельсин. Честь имѣю вас поздравить со днем ваших имянин.

Во фракѣ я похож на шафера.

В назначенный час народ стал вливаться в театр с каким-то особенным, требовательным, голодным шумом и гамом. Закрытая занавѣсью сцена всегда напоминает мнѣ термометр. Пусто в залѣ; на термометрѣ — ноль: актеры поеживаются и ухмыляются, преступно не глядя друг другу в глаза. В залѣ полно и ртуть вскипает вверх; плотники шумнѣе обычнаго стучат молотками, на актерских лицах — счастье, в глазах — искорки просыпающагося таланта, готовность вывернуть душу наизнанку, взволноваться, сжечь кусочек сердца. Как очаровательно долетает до сцены говор, шум и бормотанье разсаживающагося зрительнаго зала! В нем, в этом разсаживаньи, в этом прикосновеніи плеч к плечам, есть большая тайна и художественность. Каждый человѣк в отдѣльности может быть негодяем и подлецом, но когда он сѣл в ряд с другими людьми, в одну линію, как мусуль-

мане на молитвѣ, на него с верхних балок падает добрая искра, он отрывается от повседневной жизни, от привычек и характера, от повседневнаго мышленія, дѣлается простым, как ребенок, начинает любить добро и бѣшено аплодирует Карлам Моорам, королям Лирам, Геннадіям Несчастливцевым, двум сироткам, Велизаріям, Уріэлям и ненавидит Яго, Макбета, вдову Гурмыжскую, старшаго Торцова, и только у себя дома, возвратившись в свой человѣческій футляр, чувствует уваженіе к Кречинскому, Хлестакову, Восьмибратову и Венеціанскому купцу. Театр — очаровательная игрушка, таинственный ящик, — и чѣм старѣе его камни, тѣм острѣе и волшебнѣе столѣтіями надышанный воздух, тѣм больше актерскія ложи походят на обкуренныя трубки и каменныя плиты коридоров настроены в один звук, как камертон.

— Марсельезу! — кричит театр, когда впервые я показываюсь в оркестрѣ.

Я растерялся. Я не репетировал Марсельезы, но оркестр смотрѣл на меня радостными и ободряющими глазами. По пальцам, прикоснувшимся к струнам, к фигурным клавишам флейты, по молотку, поднятому над щекой барабана, я понял, что оркестр готов к бою. Я подымаю руку и чувствую, что музыканты, как в банк, отдают мнѣ свою волю. Взмах — и калейдоскоп пошел вертѣться. Когда пришли минорные аккорды, сердце заныло о Россіи. Покосившись в первый ряд, я увидѣл взволнованныя лица, горящія гордостью глаза, пылающія щеки, сжатые кулаки, мрачную рѣшительность, и подумал: «хотѣл бы увидѣть вас года через два». Первый день революціи всегда похож на первый день свадьбы.

Поднялся занавѣс и поплелся наш обычный, дрянной и невѣроятно глупый мармелад. Когда Васенька, по рецепту директора вызвав в себѣ настроеніе, объяснялся в любви, то подчеркивалось все смѣшное и фальшивое, что есть в человѣческой любви. Когда он, в припадкѣ ревности, грозил револьвером своему счастливому сопернику, зрительный зал покатывался со смѣху. Любовь, счастье, долг, вѣра, — все здѣсь было показано со своих обратных сторон.

Обернувшись во время діалогов в публику, я вдруг увидѣл, что в центральной ложѣ, торжественный и величественный, возсѣдает Юпитер В его одиночествѣ, осанкѣ, в сѣдой бородѣ, закрывшей галстук, в спокойствіи, в нахмуренности было дѣйствительно что-то от небожительства в сравненіи с тѣм разгоряченным стадом, которое кругом курило, смѣялось и гоготало безсмысленным смѣхом. Среди каскеток, разстегнутых воротничков, развязанных галстуков, он один был во фракѣ, равнодушный ко всему, все понимающій с легким оттѣнком презрѣнія. Трудно было представить себѣ, что в этой величавой головѣ гдѣ-то гнѣздится мысль о воровствѣ картины из Прадо.

В антрактѣ он нанес мнѣ визит, снисходительно поздравил с удачным и веселым спектаклем и пригласил отужинать с ним в его отелѣ.

В толпѣ, жадно расхватывавшей ночныя телеграммы, я без труда отыскал его автомобиль, такой же торжественный, как его владѣлец, и до ослѣпительности отлакированный. Странно: по первому жесту Юпитера, указавшему на мѣсто около себя, по этой готовности устроить меня удобнѣе, я понял, что в душѣ этого чело-

вѣка борятся два чувства ко мнѣ: непріязнь и в то же время что-то доброе и ласковое.

Юпитеру за ужином захотѣлось индюка. Как на грѣх, индюка в карточкѣ не оказалось. Мэтр д-отель предлагал руанскую утку, трюфеля, форели. Юпитер стоял на своем:

— Чтобы был индюк.

Пошли ловить индюка. Мы начали разсматривать публику, говорили о погодѣ, о красотѣ и уютѣ Испаніи. В это время на порогѣ залы появился молодой человѣк в непромокаемом автомобильном пальто с разстегнутым кушаком. Лицо его было нахмурено и озабоченно. Внимательно разсмотрѣв ужинавших, он четкими, офицерскими шагами пошел по направленію к нам. Юпитер ахнул, когда увидѣл его.

— Откуда ты?

— Из Севильи.

— А гдѣ Дениз?

— Ея нѣт.

— То есть, как-так нѣт?

— Дениз скрылась.

— То есть, как так скрылась?

— Очень просто. Как скрываются жены от мужей.

— Когда же это случилось?

— Вчера, послѣ завтрака. Я заявил в полицію, но в полиціи сейчас дѣлается сам чорт не разберет что.

По лицу Юпитера пронеслись всяческія размышленія, но это длилось не больше минуты.

— Твой автомобиль в исправности?

— Да, только нужен бензин.

— Впрочем, на кой чорт мнѣ твой автомобиль, когда я могу ѣхать на своем? Гарсон! Пальто! — скомандовал Юпитер.

И, обращаясь ко мнѣ, добавил:

— Намажьте мнѣ маслом два куска хлѣба.

Было ясно, что муж Дениз меня не узнал. В Антверпенѣ мы видѣлись мельком и он не обращал на меня ни малѣйшаго вниманія. А, может быть, я так постарѣл и измѣнился, что и узнать было трудно.

— Может быть и мнѣ с вами ѣхать? — спросил он у Юпитера.

— Ты мнѣ не нужен, — отвѣтил тот холодно. — Садись и ѣшь вот с этим господином индюка, — добавил он не без сожалѣнія.

Муж Дениз поклонился в мою сторону. Я отвѣтил ему, слегка приподнявшись. Юпитер, надѣв пальто и цилиндр, пошел к выходу и можно было подумать, что он ѣдет на бал.

Мой новый компаньон сѣл, тупо устремил в землю неморгающіе глаза и начал крошить на тарелку хлѣб.

XXXVI.

Индюк.

В любовной лихорадкѣ, как и во всякой другой, наступает момент, когда спадает температура и начинается просвѣтлѣніе: тогда невѣроятно смѣшными и жалкими кажутся прикладываніе стараго двугривеннаго к сердцу, или карточное гаданіе, в котором красная масть говорит «да», а черная «нѣт».

Когда я увидѣл мужа Дениз, то у меня сначала захолонуло сердце: этот высокомѣрный молокосос, трудами отцов сдѣлавшійся богатѣйшим человѣком, — властитель Дениз, ея тѣла, ея судьбы и свободы! Непріятная складка губ.

вытянутых в шнурок, говорит о недобром сердцѣ и безпредѣльном эгоизмѣ. Тщательно лакированная выбритость говорит о большом парикмахерском умѣніи, о прижиганіях квасцовым камнем, об особых душистых обмываніях, о тщательно выбранном сортѣ бархатной пудры, — это тоже непріятно. Тонкій, хищный, породистый нос достался от какого-нибудь родовитаго дворянина, по бѣдности подцѣпленнаго купеческим родом. Пальцы — холеные, но слишком острые, бездарные. Молодое студенческое лицо кажется постарѣвшим: по бульдожьи отвисли щеки. Глаза заволоклись виноградным налетом. О проборѣ, который дѣлался на трех четвертях лба, теперь никто не позаботился: прямыя пряди, потерявшія неподвижность и маслянистость, теперь чѣм-то напоминают деревенскаго парня, — и эта единственная небрежность напоминает о горѣ.

И я со злорадством думаю:

«Чего же стоит твое богатство? Твои табачные склады? Твое поставщичество у трех королевских домов? Твои золотыя медали и первые призы всемірных выставок, которые гирляндами нарисованы на твоих папиросных коробках? Его бросила Дениз: какой скандал! От него сбѣжала жена: какой скандал! То-то грохнет от смѣха антверпенская биржа! Задрожат от смѣха массивные купеческіе животы, задрожат красные затылки ,забрыжжут слюной жирные рты! Помилуйте: табачному принцу жена поставила чайник! Какое счастье, что он меня не узнал! Огромная, дворцовая зала двусвѣтнаго ресторана кажется мнѣ прекрасною, стеклянныя ярусныя люстры со множеством подвѣсных розеток напоминают мнѣ полуденное солнце. Столовыя

скатерти с неразомнувшимися квадратами складки говорят о бѣлизнѣ снѣгов. В южных жирных цвѣтах, засунутых в высокіе стаканы с расширяющимися горлами, нѣт еще смертнаго тлѣна. Лакеи — во фраках, лучших, чѣм мой, не позволяют даже искрѣ в глазах обнаружить, что им нравится шум, который происходит за полукруглыми, в шафрановых занавѣсях, зеркальными окнами.

Я чувствую себя бодрым, поздоровѣвшим и с удовольствіем замѣчаю, что гдѣ-то внутри меня образовалась первая точка голода, которая начинает расти с быстротою снѣжнаго кома. Я уже начинаю с раздраженіем думать о том мерзавом — эгоистѣ индюкѣ, который так долго не дается в руки мадридских поваров. Юпитер, очевидно, знал, что дѣлал, пророчески его заказывая. Я чувствовал, как мои зубы дѣлаются сухими и навастриваются и как они способны перегрызть сейчас слоновый клык.

Опытный мэтр, сердцевидец, замѣтив конвульсіи моих губ, бережно наклоняется и отвѣчает на мои тайныя мысли:

— Синьоры через пять минут будут сервированы.

Он понимает, что хозяин стола — я, фрачный кліент, а что молодой человѣк, неснявшій дорожнаго пальто — мой бѣдный родственник. Он поглядывает на него с непрочной почтительностью: пусть унылые неудачники плачут!

Я не без труда накачиваю в себя насос великодушія и стараюсь занять табачнаго принца свѣтским разговором.

— Вы, вѣроятно, очень устали? — спрашиваю я и слышу, как мой вопрос на полтона не доносит до искренности.

— Да, — отвѣчает принц, и тяжелым взглядом, который усиливается от недобраго движенія губ, скользит на одно мгновенье по моему лицу.

— Не правда ли, стоит чудесная погода?

— Да.

— Переѣзд из Севильи не показался вам трудным?

— Не показался.

И вдруг проснулся мозг, проснулся его участок, завѣдующій музыкой, сердце радостно обдало его согрѣвшейся кровью, зашевелились музыкальные микробы,— и гдѣ-то внѣ, но близко у уха, начала звучать пѣвучесть, странная и обольстительно-новая и я сразу опредѣлил ея соль-мажорную тональность. Пальцы заходили по краю стола и было немножко сумасшествія в том, что на фонѣ блестящаго крахмала я ясно различал плоскія поверхности клавиш бѣлых и узенькія ребра клавиш черных. Я знал, что рѣчь идет о том, что за горой дремучею сверкает жаркій ключ. И дальше шло самое плѣнительное, что могла создать человѣческая рѣчь, а именно: сады благоуханіем наполнились живым, Тифлис объят молчаніем, в ущельѣ — мгла и дым.

Картина Тифлиса, объятаго молчаніем, и мглы в ущельях вызвала у меня слезы, на этот раз не глупыя, не стыдныя и радостныя. Я радостно ощущал точное знаніе: какія клавиши надо надавить здѣсь и как переходить с бѣлых на черныя и наоборот.

— Только бы дали поѣсть, чтобы еще теплѣе согрѣлась кровь, только бы пожрать, пошамать, — и я с удовольствіем вспоминал и шептал эти солдатскія слова, чувствуя, как усиливается

напряженіе зубов, как движутся скулы и легкія впадины висков.

Каким архи-милліардером я чувствовал себя по сравненію с этим печальным табачным принцем! Как мнѣ хотѣлось дать ему крошку со своего богатаго стола!

— Вы любите индюшиное мясо? — участливо спрашиваю я его.

— Я не голоден, — отвѣчает он и снова глаза его и губы недобро смотрят на меня, — так недобро, что губы кажутся мнѣ третьим глазом.

— Вам, может быть, хочеться спать?

— Не хочется.

— А то от безсонницы я порекомендовал бы вам сахарную воду.

— Благодарю вас.

— А самое лучшее — это аликантэ 1918 года. Знаменитый Ортега не выдерживает болѣе двух бутылок. Вы знаете Ортегу?

— Не знаю.

— Вы любите пѣсенки Якова Смита?

— Не люблю пѣсенок Якова Смита.

— Я этому не удивляюсь. Вы — дѣловой человѣк. Вы достигли того, что ваши папиросы стали лучшими на свѣтѣ. Ни египетскія, ни болгарскія и ни амерканскія я не сравню с вашими старыми. Мнѣ, насколько я понимаю, кажется, что дѣло не в одном только, так сказать, голом табакѣ, а в том, как его смѣшать, к каким сортам прибавить другіе и так далѣе. И тут, говорят, у каждой фирмы есть свои секреты. Это — правда?

— Правда.

— У вашей фирмы есть свои секреты?

— Разумѣется.

— Секреты, так сказать, отцов и дѣдов. Вы храните их, разумѣется, в банковском сейфѣ?

— Да.

— И вот почему во Францiи — очень плохо с табачными издѣлiями. Дѣло казенное и никому не интересны секреты. А странно: республика, богатство, самыя богатыя сберегательныя кассы, сорок безсмертных, Эйфелева башня, — и эти голуазы, мариляны. Шутки в сторону. Иногда по табаку можно судить о народѣ.

Вдруг, три глаза принца шевельнулись и я понял, что он собирался сказать длинную фразу. И, выдержав опредѣленную, сдержанную паузу, он ее сказал:

— Напишите оперу на эту тему и мы поставим ее на всѣх сценах мiра.

Мои предположенiя о том, что он меня не узнал, были невѣрными. Он меня, оказывается. отлично узнал, внимательно смотрит на меня прищуренными глазами, в которых сидят молчаливыя змѣи, и думает о том, сколь глупа и навязчива моя болтовня.

Выручил индюк, подъѣхавшiй на серебряном подносѣ, который лакей торжественно держал в высокоподнятых руках.

— А вы сами курите? — спросил я, чтобы затушевать охватившую меня неловкость.

— Нѣт, не курю, — уже насмѣшливо и снисходительно отвѣтил он мнѣ.

Я чувствовал, что качусь по наклонной и очень скользкой, льдистой плоскости, и набравшись духу, спросил:

— И не нюхаете?

— И не нюхаю.

— Если так, — сказал я, обращаясь к подошедшему мэтру, — отрѣжьте господину са-

мый мягкій и самый сочный бок индюка. Он, т. е. господин, а не индюк, только что прискакал из Севильи на взмыленном арабском конѣ.

— Вы очень добры ко мнѣ! — отвѣтил принц, улыбнувшись и слѣдя за движеніями мэтра.

Мэтр, с длинным и ярко начищенным ножем в рукѣ, уже захаживался вокруг индюшечьяго трупа, выбирая, с какой стороны в него вонзиться. Индюк лежал, обложенный мелкими луковицами, молодой морковью и еще какими-то невѣдомыми огородными произрастаніями. Лапки индюка были вытянуты вверх и если бы закрутить их нарѣзанной в бахрому бумагой, то это зрѣлище напомнило бы мнѣ родительскій пасхальный стол.

И вдруг заиграл оркестр. Послышалось ступенчатое вступленіе вальса о прекрасном синем Дунаѣ.

— Гдѣ это играет музыка? — спросил я у мэтра.

Тот, поглядѣв на меня недоумѣнно, отвѣтил:

— Но вон там, на эстрадѣ. У нас в залѣ, синьор. Знаменитый вѣнскій оркестр Фанни Штурм.

Я обернулся и дѣйствительно на эстрадѣ увидѣл музыкантш в красных фраках. Дирижерша, сжав скрипку между плечом и нѣжным прелестным подбородком, поворачивалась то направо, то налѣво и играла с особым, чисто женским отлетом смычка.

— Программа начинается у вас так поздно? — спросил я.

Мэтр опять недоумѣнно повел плечом, не отрываясь от индюка.

— Но нѣт, синьор, — отвѣтил он. — Ор-

кестр играет уже давно, с девяти часов. Только что перед этим была увертюра к «Вильгельму Теллю».

Что за наважденіе! Я не слышал ни одного звука. В каком же мірѣ до сих пор витала душа моя?

Я начинаю пожирать вкусное нѣжное мясо; соль дѣлает его совершенно очаровательным. Когда к языку прикасается нѣсколько капель кларета, вкусовыя ощущенія мѣняются, как в калейдоскопѣ.

Принц ѣст вяло, дрябло жует зубом и, вѣроятно, вспоминает свою послѣднюю ссору с женой. Мэтр, с карточкой в руках, глядя на него через одно стекло в пенснэ, перечисляет номера зелени, салатов, сыров и дессертов. Принц ножиданно спрашивает красной капусты. Мэтр перебрасывается со мною недоумѣнным взглядом, ища сочувствія и пониманія.

Наконец, индюк кончил свое хожденіе по свѣту. Кости его хорошо протрещали на моих зубах. Со сладострастіем я вытянул из них черноватый, влажный мозг.

И тогда принц меня спросил моими же интонаціями:

— Вы хорошо покушали?

— Да, — отвѣтил я.

— Теперь вы сыты?

— Да.

Принц полѣз в бумажник, из котораго блеснули края тысячных пезет. Я замѣтил, что глаза мэтра переключились на уваженіе к запыленному пальто.

— Вот вам моя карточка, — сказал принц, — и прошу у вас вашу. Завтра вас навѣстят мои секунданты.

XXXVII.

Тема для кинематографа.

Кандидатов на дипломатическія должности учат носить монокль, чтобы они могли лгать, не моргая. Но, обыкновенно, забывают, что на лицѣ есть губы, живущія той же жизнью, что и глаза. Губы не могут лгать даже тогда, когда в человѣкѣ все лжет.

Табачный принц сказал, что он пошлет ко мнѣ секундантов и глаза его в этот миг излучали притворный мед нѣжности, внимательности и душевной чистоты. Этого человѣка хорошо выучили носить монокль. Вся его ненависть ко мнѣ, вся злоба сосредоточилась в губах, прижавшихся к зубам, поблѣднѣвших... Онѣ шевелились медленно, еле замѣтными движеніями, как двѣ змѣи, которыя одинаково видят безпокойный сон. Эти губы казались мнѣ третьим глазом, невыносимо ярким, умным и острым. У меня было такое ощущеніе, которое, вѣроятно, испытал Хома Брут, когда Вій поднял свои тяжелыя вѣжды.

В послѣдній період моей парижской жизни у меня довольно часто бывали моменты, когда я ясно чувствовал, что меня что-то сближает с суьбой достопочтеннаго философа из кіевской бурсы. Я твердо помню, что первая встрѣча с Дениз не вызвала у меня никакого душевнаго толчка. Да, милая и хорошенькая барышня из богатаго дома, только что окончившая гимназію, только что сформирвавшаяся, не напудренная, не намазанная. Да, хорошіе, большіе зеленые глаза, с женским и слегка уже материнским участіем, смотрѣвшіе на чудака музыканта, каким

то страннным образом попавшаго к ним в дом, изступленно колотившаго по перламутровым клавишам их превосходнаго рояля и что-то, непонятными каракулями записывавшаго на нотную бумагу. Она зажгла свѣчи, когда стало темно, и я теперь смутно припоминаю, как от спички просвѣчивала кровь в ея тонких нѣжных пальчиках. Я спросил у нея, почему клавиши не обыкновенныя костяныя, а перламутровыя, — и она отвѣтила, что этот рояль был изготовлен Бехштейном для какого-то королевскаго дома, но короля убили и отец ея перекупил недоставленный заказ. Я еще нѣсколько раз встрѣчался с нею и никаких особых волненій эти встрѣчи во мнѣ не возбуждали. Откуда же пришла яркая и безпокойная любовь? Мнѣ безконечно хочется видѣть эту дѣвушку и великим счастьем я считаю возможность прикоснуться к ея рукѣ и посмотрѣть в ея зеленые глаза. Я мысленно перебираю всѣ сорта самых прославленных духов и мысленно же дѣлаю смѣси, достойныя ея волос. Я разсматриваю модные журналы и, по их рисункам, мысленно шью платья, достойныя коснуться ея тѣла. Обувь знаменитѣйших магазинов с улицы Сент-Онорэ, кажется мнѣ грубой и неэлегантной и я ясно знаю, как нужно для Дениз закруглить носок и как выточить каблук. Я знаю оттѣнок ея чулка. Я знаю, что нужно сдѣлать, чтобы подчеркнуть хрупкость ея плеч и нѣжность груди. Среди драгоцѣнностей улицы Мира я выискал только одно достойное ея ожерелье с изумрудами, в глубинѣ которых лежат вѣчныя, не тающія пушинки снѣга.

Это маленькое сумасшествіе казалось мнѣ наважденіем, напущенным на меня извнѣ, кол-

довским способом, — и мнѣ часто хотѣлось окропиться святой водой и я заходил в костелы, у входной колонны мочил пальцы в чашѣ, но католическая вода не дѣйствовала и засѣвшій в меня бѣс не уходил и я тайно этому радовался: пѣсни бѣса были мучительны, но сладки, и с ними жаль было разставаться.

Юпитер был похож на пана сотника. Вѣроятно, у него были вѣрные служители, подобные Дорошу, Явтуху и Спириду. Я очертил себя магическим кругом, но заклинанія мои были, вѣроятно, не сильны, и вот Вій поднял вѣки, опущенныя до полу, увидал меня и сказал, показывая железным пальцем: «вот он».

Вот — я. Завтра придут ко мнѣ секунданты и я отчетливо вспоминаю, как в гаданіи Жозетт рядом со мной, червонным королем, легла и не ушла девятка пик: смерть. Я должен искупить дѣвическій грѣх, — и теперь ясно понимаю смысл напущеннаго на меня наважденія. Я должен заплатить за перламутровыя клавиши, за отсвѣт нѣжной крови в пальцах, за ласку зеленых глаз, за русскій обѣд, за гаванскую сигару. В Европѣ ничего даром не дѣлают и все имѣет свой счет. Умные люди торгуются и получают скидку: я — не из их числа. Да, пожалуй, я и прав: что мнѣ дѣлать на этой землѣ? Носиться вокруг солнца, искать хлѣб и воду, крышу над головой, пріобрѣтать болѣзни печени и почек.

— Тифлис объят молчаніем, в ущельѣ мгла и дым. Одѣлась туманами Сіерра-Невада, — кто то безпорядочно пѣл внутри меня и мадридскія притихшія улицы показались мнѣ прекрасными. Как осенніе листья, шуршали под ногами бумажки прокламацій. Проходили иногда патрули гражданской гвардіи и их густо лакированныя

шляпы блестѣли под фонарями. Я, очевидно, не вызывал подозрѣній и острота солдатских глаз сразу переходила в равнодушіе: так яркій свѣт лампы переходит во тьму, когда поворачиваешь выключатель. Было тепло и я с наслажденіем ушел далеко, к дворцу, и через рѣшетку смотрѣл вниз, на огни города, на параллельные ряды улиц, на груды притихших домов, на кружки площадей. Гдѣ же балконы? Гдѣ гитары? Гдѣ серенады? Гдѣ глинкинская «Ночь»? Тишина, темныя окна, журчанье маленькаго фонтанчика. Гдѣ Россія? Россія все дальше и дальше отходит от меня. Я уже забываю Петербург и не помню, как расположены улицы по Большой Морской, но ясно вижу путь от Зимняго Дворца к университету. Смѣюсь и вспоминаю, как я шел через Дворцовый Мост с одним знакомым, который только что вставил себѣ искусственные зубы: зубы ему мѣшали, он их вынул и через рѣшетку моста бросил в воду. Вот так я свою жизнь возьму и брошу через мост. Жизнь начинает мнѣ мѣшать.

По Полярной Звѣздѣ, как моряк, я отыскал Россію. Там — маленькая груда камней моего дома, моей консерваторіи, моего театра. В моей комнатѣ кто-то спит, чужой: покойной ночи. Консерваторія — темна и мой ученическій рояль, вѣроятно, оглох и стал косноязычным, колки не держат струн, педали не слушаются ног; пора на живодерню, старик. Мой театр сегодня, как и всегда, был, вѣроятно, полон: остыли ли в его воздухѣ частицы моего дыханія, отзвуки моих аплодисментов? Говорят, что в Луврѣ нѣкоторыя занавѣси до сих пор хранят запах мускуса, любимаго аромата Маріи-Антуанетты.

Утром явились они — вѣстники смерти. Я плохо представляю себѣ, что такое рединготъ, но, по моему, несмотря на жаркую погоду, они были в застегнутых на всѣ пуговицы рединготах. В их руках одинаково блестѣли радіусы цилиндров. Их воротнички ослѣпляли навощенностью крахмала. Одинаково и предумышленно были не сняты гренобльскія перчатки. Волосы, густо намазанные фиксатуаром, были тщательно расчесаны по бокам пробора и, как слѣды маленькаго плуга, хранили линіи гребешка. Лица их были необыкновенно выхолены и как-то по женски бѣлы. В глазах был один и тот же градус холодной учтивости, несложной вѣжливости и ложной готовности к услугам.

Я хотѣл прямо и честно сказать им, что вызов табачнаго принца продиктован большим недоразумѣніем, что никакой вины перед ним за мной не числится, но, взглянув на себя в зеркало, увидѣл утреннюю невыспавшуюся фигуру в помятой пижамѣ, в красных тунисских туфлях, и понял, что скажи я им об этом хоть слово, в их глазах блеснет одинаковый градус презрительной усмѣшки и они оба одинаково подумают: «трус». И потому, стараясь отпечатать на своем лицѣ выраженіе беззаботности и беззпечности, я просто назвал им час, в который они могут имѣть свиданіе с моими секундантами.

— Это не так легко сдѣлать в чужом городѣ, найти секундантов («хоть человѣк он неизвѣстный, но уж конечно, малый честный», шутливо пронеслось в головѣ), но тѣм не менѣе, — сказал я.

Они одинаково, в один и тот же уровень, поклонились и прижали цилиндры к сердцу. Они упивались своей ролью, своей свѣтскостью,

своей посвященностью в тайну. Потом на каблуках одинаково повернулись и вышли, слегка посеменив ногами у порога.

Одѣвшись, я направился к директору, который жил этажем выше. Узнав, в чем дѣло, он навострил слух и, высоко подняв бровь, вразумительно сказал:

— Нѣсколько ночей не сплю и все думаю, чего мнѣ не хватает? Теперь понял. Мнѣ не хватает быть твоим секундантом, морочить себѣ голову и слышать свист пуль. Предварительная продажа на сегодня — четырнадцать пезет, чѣм кормить свой звѣринец — понятія не имѣю, а тут не угодно-ль вам пройтиться там, гдѣ мельница вертится. Благодарю вас, Калигула. Тема для кинематографа.

Я ему отвѣтил:

— Врач не может отказать в помощи больному. Священник — в послѣдней молитвѣ умирающему. Друг — в просьбѣ о секундантствѣ.

— Ну, а если тебя безпересадочным поѣздом отправят к Аврааму, Исааку и Іакову? Кто тебя замѣнит за пультом?

— Ты. Все равно же сборов не будет. Можно было сорвать один раз, но не до безчувствія.

— Таких пророков, как ты, в Іудеѣ побивали камнями, — отвѣтил директор задумчиво и потом добавил: — ты сыграл, как Филя в дудочку. Вот, что значит не слушаться умных людей. Говорил: бери быка за рога, не распускай губ, дѣвочка клюет, дѣлай предложеніе. Отказали бы, — за это в полицію не берут. А теперь дуэль, чертовина. Гдѣ старик? Он может уладить дѣло.

— Старик срочно выѣхал в Севилью.

— Холерка ему в кишки. Пристрѣлят тебя,

как куропатку. Уже и по лицу твоему видно. Землистость на кончикѣ носа.

Я расхохотался.

— Ну это бабка на двое сказала. Я в туза попадаю на тридцать шагов.

— В бѣлый свѣт, как в пуговку, — отвѣтил директор иронически.

Я тогда рѣшил подѣйствовать на его воображеніе и разсказал ему о секундантах табачнаго короля, об их редингогах, цилиндрах, воротничках. И так как директор считал себя великим знатоком в области мужского костюма, то перспектива возложить на себя богатыя и блестящія одѣянія, проѣхаться на извощикѣ в цилиндрѣ, пустить в ход артикулы холодной вѣжливости, придворных поклонов (в Россіи он играл оперетoчных королей), сдержанных и утонченных интонацій, — все это ему улыбнулось.

— Но кто же будет вторым? Секундантов же двое?

Я подумал и отвѣтил:

— Вторым будет Васенька.

Директор вскочил, как ужаленный.

— Что? Васенька? Карлик? Рядом со мной? Ты соскочил с ума, мой друг. У тебя самыя форменныя галлюцинаціи.

В это время в дверь постучали и мальчишка подал мнѣ телеграмму. На приклеенной бѣлой лентѣ было напечатано шрифтом пишущей машинки:

«Немедленно выѣзжайте в Севилью и ровно в два часа будьте в Альказарѣ».

Подписи не было.

— Кто это? Пан сотник или панночка?

XXXVIII.

Точки над і.

Случилась странная исторія. Вокруг меня сплелись обстоятельства, грозившія мнѣ смертью, — и как раз в это время мысль моя и душа успокоились и со сладкой полнотой перестали думать об опасностях, о чем бы то ни было заботиться, что-то предусматривать, предупреждать, на что-то или на кого-то расчитывать. Я думал о чем угодно, но только не о жизни и не о смерти. Вдруг, появилось чувство, похожее на душевную дальнозоркость, и я стал поновому видѣть вещи, даже самыя незначительныя. Возможно, что за нѣсколько минут или секунд до смерти человѣку дано видѣть мір поновому и поистинному и оттого у мертвых часто бывает мудрое и просвѣтленное выраженіе лица. Возможно, что и вокруг меня смерть уже начинает дѣлать все болѣе и болѣе съуживающіеся круги и я начинаю понимать Сезанна, писавшаго яблоко и открывавшаго тайну яблока. Я понимаю писателя, который за каждым обыденным и надоѣвшим словом способен пріоткрыть чудо, за этим словом таящееся. Своими новыми глазами я видѣл не город, а чудо, — не людей, а чудесных существ; не дождь, — а чудо; не цвѣты, — а чудо; не солнце, — а великолѣпнѣйшее и таинственнѣйшее чудо. Я прислушивался к своей мысли, к ея ходам, к ея законам, и почти слышал шелест, с которым она проползает по сѣрому, студенистому веществу. Билось сердце и я слышал, как выходит из него и снова возвращается кровь. Я восторгался чудом глаза, воспринимающаго линіи и краски.

Ухо, воспринимающее голосоведеніе и ритм, болѣзненно страдающее от нарушенія их твердаго и математическаго закона, — представилось мнѣ чудом из чудес.

Директор, старавшійся вывести меня из затруднительнаго положенія, тоже казался мнѣ чудом. Я уже не видѣл в нем бойкаго и жуликоватаго человѣка, понимавшаго на землѣ только силу денег. Он хлопотал около меня и душа его жила по каким-то особым и, очевидно, прирожденным законам добра.

Мнѣ нужно ѣхать в Севилью и завтра в два часа дня быть в Альказарѣ, — но поѣзда удобнаго нѣт. Директор мотается по взбѣсившемуся Мадриду, гдѣ никто ничего не хочет дѣлать, гдѣ у всѣх руки повисли, как плети, гдѣ всякій думает только о том, как бы побольше поглотить холоднаго пива.

Директор ищет машину, надежнаго шоффера, сам укладывает мои чемоданы, опасаясь, что я забуду бритву или мыло для бритья («в парикмахерской не смѣй бриться, еще экзему схватишь: а ты понимаешь, что значит схватить болѣзнь от человѣка южной крови?»). Директор покупает мнѣ шелковыя рубашки и злится, что я точно не знаю номера моего воротника («надо имѣть элегантный вид: элегантность все. Тебѣ идет темно-сѣрое и блѣдно-голубое»).

Этот хлопотливый, озабоченный и ворчливый человѣк виден мнѣ сейчас с какой-то незнакомой, милой и хорошей изнанки и только теперь дѣлается понятным, сколько в нем накрученнаго со стороны, ему чуждаго, ему несвойственнаго, и я говорю ему такую фразу:

— Герр директор! Скажи мнѣ: сколько на тебѣ пиджаков?

— Если меня не обманывает зрѣніе, — отвѣчает он, подозрѣвая начало еврейскаго анекдота, — на мнѣ пиджак один. Темно-синій, двубортный.

— На тебѣ, — говорю я, — накручено сорок два пиджака, восемнадцать штанов. Если тебя распеленать, то обнаружится человѣк, котораго ты и сам не знаешь.

— Очень смѣшно, — отвѣчает директор, поджимая презрительно губы, — если бы у меня было время, я смѣялся бы до пяти часов утра...

Наконец, я усажен, как надо, в автомобиль, в правый угол, и нога закинута на ногу и виден тонкій сѣрый носок. Мнѣ показано, гдѣ покоится сверток с провизіей («если бы пришлось перекусить в дорогѣ: рыба-фиш и кусок ростбифа, соль и горчица — в промасленной бумагѣ») и двѣ бутылки вина («чтобы промочить горло, глядя на звѣзды, по образу и подобію достопочтеннаго Санчо-Пансо»).

— Если сильно обвѣтрѣешь и начнет облѣзать нос, смажь его лимонным соком. Жаль, что я оставил в Парижѣ свое кольцо с бриллiантом: я бы дал тебѣ надѣть его на безымянный палец. Это звучало бы великолѣпно! Почему ты свой браслет с часиками запрятал в верхній карман?

Шоффер, прислушиваясь к нашему непонятному языку, пробует осторожно нажать педаль, сердце машины завертѣлось, колеса осторожно отлипли от земли и я слышу послѣднее отцовское наставленіе директора:

— Дѣлай, что хочешь, но не ставь точки над *a*. И в концѣ концов запиши у себя на штанах, что из партитуры не сваришь похлебки, и что нѣт такой сковороды и такого масла, на котором можно сжарить романс, даже лирическій.

Я слышу, как по мѣрѣ движенія автомобиля его слова теряют отчетливость и ясность и дѣлаются отдаленными. За городом, который к концу стал бѣднѣе и приземистѣе, меня встрѣтил вѣтер и начал обжигать лицо, глаза, начал свистѣть в уши, как шмель, — и я думал, каким чудесным казалось произрастаніе деревьев, трав и хлѣбов, и мокрые квадратики ржи, и полет ласточки, экономно пользующейся крыльями, и облака, еще бѣлыя, еще не набравшія вод. И человѣческая жизнь с ея автомобилями казалась мнѣ похожей на таблицу умноженія, логику которой я всегда считал убогой. Я отчетливо чувствовал, что сейчас со мной и с моей жизнью происходят вещи, которых я не пойму точно так же, как собака никогда не поймет, что за нее платят налог. Я остро чувствую, что мір отдѣлен от человѣка и что человѣк снабжен даром непониманія, ибо непониманіе есть дар великій и счастливый. Я улыбаюсь при мысли, что человѣческая логика — это самая бѣдная старушка, которая когда-либо проживала на землѣ.

Вдруг, сердце машины останавливается и автомобиль берет аллюр, который в музыкѣ называется глиссандо. В чем дѣло? Глаза мои пріобрѣтают свои обычныя способности и я вижу огромный луг, огороженный частоколом. В высокой, прохладной темно-зеленой травѣ ходит стадо великолѣпных быков. Тонкія стройныя ноги их не вяжутся с мощной грудью, но оттѣняют изящество полированных рогов. Быки ищут трав, наиболѣе вкусных, незамѣтно их обнюхивая, и потом без жадности жуют вращающимся, неторопливым ртом. Мелькают желтоватые зубы, а глаза, в которых отпечаталась

только одна мысль, недоумѣнно смотрят на цвѣтное корыто автомобиля и на двух странных существ, в нем находящихся.

Шоффер говорит:

— Ни один испанец не проѣдет здѣсь, чтобы не остановиться. Вы, синьор, не вздумайте волноваться, потому что все равно я доставлю вас в Севилью в условленный час.

— Почему именно это стадо доставляет вам такое большое удовольствіе? — спрашиваю я, видя, как глаза шоффера горят радостью и внутренним наслажденіем.

— Синьор, — отвѣчает он, — здѣсь воспитываются быки, предназначенные для боя.

Так как, в концѣ концов, и я — бык, предназначенный для боя с табачным принцем, то встрѣча со стадом подобных мнѣ рождает какое то любопытствующее и острое чувство.

— Отдохнем немного здѣсь! — говорю я шофферу, выхожу из автомобиля, перелѣзаю через забор и иду к быку. Бык смотрит на меня довѣрчиво и безбоязненно и одна и та же мысль, свѣтящаяся в его глазах, не пріобрѣтает никаких новых оттѣнков. Я срываю пучек травы и протягиваю его к его рту. Бык нюхает траву и не особенно охотно забирает ее языком: мнѣ кажется, что это он дѣлает из вѣжливости. Я подхожу к нему и глажу его по головѣ: бык неторопливо подставляет мнѣ уши и я понимаю, что он любит, чтобы его чесали за ушами. Я начинаю легенько, как кота, чесать у него за ушами. Бык вытягивает шею и сладострастно щурит глаза.

Показался погонщик и, подходя, снял шапку и спросил:

— Синьор интересуется товаром?

— Да, — соврал я, — но этот мнѣ не нравится. Он кроток.

— Синьор, — отвѣтил погонщик, — но вѣдь всѣ быки кротки. Их нужно сильно раздразнить, чтобы они пришли в бѣшенство, — и, сказав это, крикнул, как слугѣ: — Альфонсо!

Неподалеку стоявшій другой бык поднял голову и вопросительно посмотрѣл на погонщика. Погонщик еще раз повторил свой крик:

— Альфонсо! — и добавил, — что же мнѣ сто раз тебя просить?

Бык подошел с покорностью слуги.

— Вот этого рекомендую вашему вниманію. Упрям и скуп.

— Скуп? — с удивленіем спросил я.

— Очень скуп! — не понимая моего удивленія, отвѣтил погонщик.

Я и этого почесал за ушами. У перваго родилась ревность и он, ловко присосѣдившись, стал оттѣснять Альфонса и погонщик замѣтил этот маневр.

— Мигюель! — сказал он первому, — перестаньте валять дурака.

И Мигюель недовольно, не понюхав, отщипнул верхушку какой-то травы.

Несмотря на это замедленіе, мы прискакали в Севилью к одиннадцати часам вечера. В подъѣздѣ отеля сидѣл уже ночной швейцар. Он отвел мнѣ необычайно высокую комнату с мозаичным прохладным полом и с двумя кранами, из которых бѣжала одинаково холодная вода. Кровать была под мустикэром и в этом было что-то дѣвичье. Я отлично выспался и с утра долго гулял по городу, и странно, ничего не запомнил, кромѣ одного названія: улица Сервантэса. В узеньком переулочкѣ увидѣл медленно догорав-

щія развалины церкви. Ея внутренняя раскраска и живопись были расчитаны на католическую затемненность и теперь, на открытом вбздухѣ, краски пламенѣли сильно и фальшиво.

В два часа, в Альказарѣ, на аллеѣ, уставленной майоликовыми скамейками с вензелями короля, я увидѣл Дениз. Она подошла ко мнѣ просто и незастѣнчиво. Я спросил:

— Дениз! Что все это значит?

Она отвѣтила:

— Я вижу большую поляну. И на этой полянѣ только двое: я и ты.

— Ню зачѣм ты лгала?

— Я лгала людям, которых не люблю. Тебя я люблю и тебѣ лгать не буду. Можно лгать только тѣм, кого не любишь. Ложь убивает и оскорбляет любовь.

— Но зачѣм ты наговорила про меня, что я был твоим любовником?

— Затѣм, чтобы муж отвязался от меня. И он отвязался.

— Кто же был твоим любовником?

— Никто. Я была и осталась дѣвушкой. И ты будешь моим первым. Правда, хорошо говорить о любви в этом саду? Я видѣла много садов на землѣ, но это — первый, который мнѣ нравится.

— А гдѣ твой отец?

— Он осматривает во дворцѣ какія-то старыя колонны. Посмотри, как высоки эти пальмы.

Я увидѣл огромныя, растущія кустом, пальмы.

— Смотри, как в этом водоемѣ полна и свѣтла вода...

Я увидѣл каменный круг, до верха наполненный плотной и густой водой...

— Вот тебѣ, — сказала Дениз, подавая ключ, — когда найдешь дверь, к которой он подходит, ты войдешь...

XXXIX.

Мэктуб.

Через три мѣсяца — только через три! — я уже должен был писать тебѣ, Дениз, письмо, может быть послѣднее. «Мэктуб!» — сказали бы арабы, обозначающіе этим словом судьбу, рок, греческое ананки. Это письмо найдут в моих «бумагах», если со мной «что-нибудь» случится.

Первое, о чем мнѣ хочется напомнить тебѣ, это — Альказар. Я цѣловал многих женщин, но только в тот ясный день я впервые понял, что такое поцѣлуй. Это — первое приближеніе плоти, грѣшной и невинной, земной и ангельской, звонок тѣла. Наши поцѣлуи дали мнѣ ощущеніе полета. Мы с тобой летѣли над Севильей, видѣли старое человѣческое гнѣздо, обогнули верх Хиральды, и снова опустились в аллею с майоликовыми диванами. Или сад утроил свое дыханіе, или обоняніе стало тоньше, но я никогда не слышал такой силы ни у роз, ни у левкоев, ни у лимоннаго листа. Твои щеки пахли миндалем, а ушныя раковины — свѣжим сѣном.

Пришел отец и мы стали благоразумны. У него был вид героя одной знаменитой русской комедіи. Имя этого героя — Фамусов. «Что за комиссія, Создатель, быть взрослой дочери отцом!» Он молча подсѣл к нам и, не прерывая этого молчанія, мы просидѣли минут пятнадцать. Потом поѣхали завтракать и он угрюмо

предлагал мнѣ блюда, наиболѣе достойныя. Я чувствовал себя парвеню, насильно втершимся в богатое и знатное семейсто. Отец твой тоже чувствовал это, но он долго жил в Африкѣ и знал слово: мэктуб. Сознаніем этого мэктуба были пропитаны всѣ его интонаціи и движенія. Он был хмур, но в каком-то милиметрѣ его расширившагося зрачка вспыхивала, порою, золотая и радостная искра. Послѣ кофе он предложил мнѣ сигару, лучшую в мірѣ. Потом он отослал тебя на верх и тут я разсказал ему о том, что должен драться на дуэли с твоим мужем. Он сказал:

— Это — глупости. Я поѣду в Мадрид и загоню его под стол, с этой дуэлью. Не забывайте, что у меня одинадцать милліонов годового дохода. Я пущу его по вѣтру, если захочу, совсѣм его никотином.

Из его слов я понял, что мнѣ дается временная отсрочка, как в призывѣ на воинскую повинность. Я не особенно хотѣл разбираться в правильности этих льгот, но теперь ты понимаешь, почему отец, довезя нас до Барселоны, пересѣл на желѣзную дорогу и отправился в Мадрид. Он поѣхал «ликвидировать» вызов. Он за эти дни явно похудѣл и постарѣл. Входя в вагон, он, почему-то, поднял воротник пальто и застегнулся на всѣ пуговицы, хотя было жарко. А мы с тобой — наконец, одни! — вернулись в город, гуляли по бульварам и ты купила сотню гвоздик. Потом в крытом рынкѣ, в особой загородкѣ, мы ѣли мулей, это блюдо показалось тебѣ восхитительным, — особенно его названіе: устрицы для бѣдных, — и ты внимательно, с женской хозяйственностью, разспрашивала о секретѣ его изготовленія. Я запомнил одно: для

какого-то контроля нужно опускать в бульон серебряную монету. Ночь не приходила страшно долго и часа в три утра я на цыпочках подходил к твоей двери и тихонько нажимал ее, но дверь не поддалась и я сидѣл у себя на балконѣ, пока ни озяб.

На утро ты уже сама сѣла за руль и замѣтила, что отец забыл перчатки. Ты для смѣха надѣла их и говорила, что влѣзла в отцовскую шкуру. Машина ожила в твоих руках, стала думать и оказалась даже способна на юмор. Ты изобразила на губах дѣловую суровость, стала похожей на отца и я понял, что у тебя от него — только упрямый подбородок. Все остальное — материнское. Прибавив тебѣ десяток лѣт, округлив твои плечи, впрыснув тебѣ в глаза капли серьезности, прорѣзав лоб первой морщинкой, надѣв тебѣ на плечи кружевную косынку и застегнув ее на груди брошкой, пухло и замысловато сдѣланной, — я ясно увидѣл твою мать. Я был рад, что на подбородкѣ у тебя не было ямочки, признака влюбчивости: это значило, что ты будешь вѣрна прочно.

Колѣни наши тѣсно прижимались и машина тогда ревновала и злилась. Мнѣ казалось, что моя кровь переливается в тебя, и твоя — в меня. Когда я чувствовал в себѣ твою кровь, то боялся, что сердце не выдержит ея свѣжести и напора. Когда вѣтер, на скорости в сто, стал обжигать твое лицо, то оно как-то по странному худѣло, казалось осунувшимся, но зато на щеках усиливался и расширялся румянец. Я чувствовал, что ты — моя добыча, и твоя спортивная курточка, твоя юбка, твои чулки и лодочки на ногах не защищают тебя. Ключ, данный то-

бой и лежавшій в жилетном карманѣ, жег, как углем, мнѣ ребро.

А в мозгу моем родилась и до странно-проникновенной понятности стала выясняться старая фаталистическая нянькина вѣра: «Чему быть — того не миновать. Плыви, моя гондола. Мэктуб». Это было так же ясно, как и то, что эту великолѣпную и умную машину тянет не горящій бензин, а мысль того человѣка, который ее создал. Нас везла мысль, а нашей судьбой правит мэктуб.

Стало все просто и легко.

Вдруг, ты рѣзко остановила машину и повелительно сказала:

— Пересядь на задній диван, а не то мы с тобой налетим на дерево.

Я послушался и это понравилось машинѣ. Она стала работать с удвоенной силой, к ней возвратилась ясность и она лихо, с холодной вѣжливостью, обгоняла каких-то ситроенов и других паучков. Иногда ты била по грушѣ клаксона и тогда воздух оглашался диким и неожиданным ревом и ты первая смѣялась этой немузыкальности и испугу осликов, которые пряли ушами, изображая проклятіе.

В Парбу мы проходили через таможню и чиновники осматривали автомобиль и приподнимали крышку над мотором, отыскивая контрабанду; но кромѣ сотни гвоздик и плитки шоколада ничего не нашли. Ты важно и со знаніем обстоятельств предъявляла им бумаги, указывала на фіолетовыя печати и чиновники проникались почтительностью и к твоей молодости и к твоему богатству. Потом ты расписывалась под готовым текстом, зажимая стило между указательным и средним пальцем. Все было тогда

чужое в тебѣ и офиціальное, но когда ты взглядывала на меня, то казалось, что ты возвращаешься из отпуска и снова несешь мнѣ свои дары: нѣжность, покорность и послушаніе. Кто бы со стороны мог догадаться, что в твоей головкѣ живет образ поляны, на которой видны только два человѣка: ты и я?

Мы предъявили паспорта с разными фамиліями, чиновники украдкой взглянули на меня и в глазах их блеснули уже не чиновничьи, а обывательскія щупальцы. Я отвернулся к окну и увидѣл высоченныя шапки Пиренеев, лѣса, пролѣски, дороги, человѣческія строенія и небо казалось зеркалом, в котором отразилась средиземная морская синева. В домѣ таможни было прохладно, в углу лежали тюки конфискованных французских газет, по черным путям сновали поѣзда, а на платформѣ пирамидальными горами, как ядра, были навалены апельсины.

По выѣздѣ из Парбу, я увидѣл верстовой столб с надписью «Марсель» и сказал тебѣ:

— Поѣдем ѣсть буйабез.

— А что такое буйабез?

— Рыбный суп.

И ты молча поворотила своих невидимых лошадей на марсельскій тракт. Я знал, что ты любишь черное мясо и рыбный суп тебя не прельщает, но твое повиновеніе было необычайно пріятно.

И вот среди гор вдруг блеснула полоска моря! Потом сразу открылся шелковый плат, покрывшій таинственную глубину. Потянулся другой воздух, пахнущій свѣже-засоленными маслинами. Потом по улицѣ Маленьких Манечек мы въѣхали в Марсель и тут уже я стал пилотом и указывал, куда надо свернуть, чтобы попасть в

порт. Одно время показалось, что я сбился и стало очень радостно, когда завиднѣлись на тротуарѣ столики с бѣлыми скатертями. Услуживали толстыя бабы в фартуках и, навострив память для принятія заказа, тѣм не менѣе, каким то боковым углом глаз, осматривали и оцѣнивали и твой костюм, и камень на пальцѣ, и не попарикмахерски закругленные концы волос. Меня это смѣшило, ибо я всегда думал, что женщины осматривают наряды друг у друга с такой же необходимостью, с какой собаки обнюхиваются. Когда, проглотив заказ, баба ушла, ты высвободила руки из перчаток и, обѣ, положила их на стол и в глазах твоих я прочитал тайную просьбу: погладь их и поласкай. И я гладил их вдоль тонких косточек. Поодаль сидѣли марсельскіе купцы, чествовавшіе заѣзжаго парижскаго актера: и у купцов, и у актера было в глазах чувство зависти. Актер вздохнул и сказал с французскими удареніями «In vino veritas». Купцы же вздыхали и эти вздохи говорили: связался чорт с младенцем.

Баба подала суп с желтым моченым хлѣбом, гору рыб и вино в продолговатой рейнской бутылкѣ. Мнѣ казалось, что мы путешествуем с тобой сезонов пять и такіе обѣды давным давно вошли в наш обиход. Ты спокойно дѣйствовала разливной ложкой и снисходительно-нечестно дѣлила мягкую разваренную рыбу: мнѣ — больше, себѣ — меньше. Когда у моей лангусты отломилась клешня, ты ее подложила мнѣ, извинившись за неаккуратность. Вина ты не уступила и пила его по-женски, кончиками губ. Но, когда на послѣднія рюмки хватило только по половинѣ, ты аптекарски добавила из своей принадлежащія мнѣ капли. От мороженнаго, крѣп-

каго, как лед, ты не отказалась, когда я предложил тебѣ частичку с большим цукатом. И ложку ты как-то подѣтски переворачивала во рту, донышком вверх. И ѣла ты его тоже подѣтски: сначала клала на язык, потом растопляла дыханіем и тогда были видны оба полукруга твоих четких зубов.

И среди этих пустяков я понимал, что мэктуб только теперь поднял мою жизнь на предопредѣленную ей высоту, что счастливѣе этой полосы у меня никогда и ничего не было, что вот еще одно усиліе и, может быть, я буду похож на собаку, понявшую, что за нее платят налог. Легонько кружилась голова, из пакгаузов попахивало рогожей, свѣжей бичевой и бакалеей; марсельцы окончательно подвыпили и раскраснѣвшійся актер, отвалившись на спинку стула, декламировал стихи, отчетливо произнося нѣмое е. И вдруг что-то, как иглой, кольнуло сердце.

— А ты позволяла мужу цѣловать себя? — спросил я.

— Да. Один раз, — отвѣтила ты.

— Когда?

— В церкви. По приказанію епископа.

— Что же ты почувствовала?

— Соленыя губы. Я потом осторожно вытерлась фатой.

Оба разсмѣялись, пошли к заливчику, наняли маленькую моторную лодченку с потертыми коврами и покатили на островок с тюрьмой, в которой сидѣл Монте Кристо. Лодченка неслась по прямой линіи, как стрѣла, пущенная из слабаго лука. На островкѣ только и было, что тюрьма, похожая, впрочем, на Бастилію, да маленькое кафэ с желѣзными столиками. Не-

смотря на солнце и синее море, было мрачно и ты, вдруг, призналась, что боишься летучих мышей. Долго мы ходили по щебню, от котораго скрипѣли подошвы, и смотрѣли на Марсель, на его высокій собор, похожій на маяк, и на корабли, с разных сторон шедшіе к нему. Корабли напомнили мнѣ о путешествіях и дорогах.

И я спросил:

— Дениз! В концѣ концов, куда же ты меня ведешь?

— Не твое дѣло, — отвѣтила ты, — теперь ты в моих лапах и изволь мнѣ повиноваться.

И ты показала мнѣ свои руки и я увидѣл на них отсутствующія отцовскія перчатки.

— А потом?

— А потом я тебѣ буду повиноваться.

— Нынѣ и присно?

И ты отвѣтила словами латинскои молитвы:

— In saecula saeculorum.

XXXX.

Комаринскій мужик.

...Проскочили по набережной, мимо Эйфелевой раскоряки, и, странно, шевельнулась такая о Парижѣ мысль: вот город, в котором слова мерси и пардон потеряли всякое значеніе. В Булони завернули к лѣсу и этот лѣс, осенній, старческій, израсходовавшій всѣ отпущенныя ему на сезон силы и соки, представился мнѣ ручным звѣрем. Нѣсколько медленнѣе проѣхали мимо олеографических озер и мнѣ показалось, что рыба в них перебита воскресными веслами.

Но вот парижская бензинная копоть удари-

лась в толщи загороднаго озона, появились люди с прочно-скучноватым провинціальным выраженіем лица, дѣвушки с ненамазанным румянцем, монахи без молитвенников, похожіе на отставных актеров, женщины в деревянных галошах.

Я чувствовал, что путешествіе наше близится к концу и мысленно гипнотизировал тебя вопросом:

— Все-таки, садовая голова, куда же ты меня везешь?

Я думал, что мы ѣдем в Бельгію, под антверпенскій дождь, но вот мелькнул Руан: камни его собора показались мнѣ счастливыми, как счастливы тѣ нотные знаки, которые служат Бетховену. Мелькнул спуск к мосту, кафе Виктора и рѣка, с непрочным пароходным дымом. Начались зеленыя и высокія аллеи с листвой, болѣе красивой и упругой, чѣм в парижском лѣсу, и, странно, в полѣ отдавало яблочной кислотцей. Была пора той влажности, которая превращается не в облака, а в легкій туман. Пошли сосновые лѣса и густые кусты папоротника в них: в папоротникѣ есть что-то чертовское, хитрое и незамѣтно спрятанное, как кусочек огонька в спичкѣ.

Почему-то мнѣ показалось, что скоро мы остановимся и я не ошибся: мы скоро остановились около дворцовой высокой рѣшетки, у ворот, похожих на версальскія. На небѣ, как фонарь с протертыми стеклами, но еще не зажженный, повисла луна. От ворот шла широкая аллея каштанов, необыкновенно жирных и круглых, — и в этой аллеѣ было что-то, похожее на туннель. Бритый мужичишка эльзасскаго типа, распростав крестообразно руки, открыл ворота

и пропустил нас в туннель. Мы поѣхали медленно и чѣм ближе, тѣм больше подъѣзд дома обростал окнами, этажами, башенками и, наконец, увѣнчался крутой чешуйчатой крышей. Гдѣ-то за домом дико-радостно гоготали гуси и слышался плеск воды.

Мы остановились и начали ждать. В первом этажѣ кто-то прошел со свѣчей и потом послышалось, как щелкнули два поворота замка.

— Мы дома, — сказала ты.

Ногами, смявшимися от долгаго сидѣнія, я пошел в свою комнату, из которой увидѣл старый, разбитый по французскому канону паркетный сад, четырехугольник пруда с фонтаном, чугунных нимф по углам и купавшееся стадо гусей, старых и молодых.

Моя комната показалась мнѣ взятой напрокат из шенбруннскаго дворца: было в ней что то вѣнское. В углу стоял длиннохвостый рояль. В каминѣ были приготовлены отлично просушенныя дрова и растопка. Висѣла огромная пустая рама и по ея размѣрам я догадался, что она приготовлена для дюреровской Евы. Я вспомнил Юпитера и понял, что эта комната — дѣло его рук. Он приготовил ее для зятя, котораго хочет его дочь. Воля дочери — закон. Что об этом скажут или подумают люди, — ему плевать: одиннадцать милліонов годового дохода страхуют его от всѣх бѣд. Браво, Юпитер!

В ваннѣ из лѣваго крана полился ошпаривающій кипяток. Наверху в трубах постукивали молоточки. Очевидно руководители дома знали, что нормандская ночь не будет тепла.

В столовой мы пили с тобой чай и камин барски массировал мнѣ спину: я сидѣл на хозяйском мѣстѣ. Что-то во всем этом было похоже

на превращенія из арабских сказок. Мнѣ иногда хотѣлось ущипнуть себя и провѣрить: не во снѣ ли я вижу твою улыбку и перегородочки твоих зубов? Потом мы гуляли в саду и кругом, как в цыганском романсѣ, росли тяжелыя, осеннія и твердыя, как луковицы, розы. В птичникѣ устраивались, подѣлив пѣтухов, куры. Гуси бодрствовали и паслись на полях, кланяясь травам.

— Это все твое, на придачу со мною, — шутливо говорила ты и я снова чувствовал себя арабским принцем, и мнѣ казалось, что сейчас в зеркалѣ я увидѣл бы себя помолодѣвшим, с витіеватым блеском глаз и с алмазом на чалмѣ.

...Вспомнился грустный россійскій зимній день. Только что похоронили отца и ко мнѣ вечером пришла старая заплаканная тетка, присѣла на диван и сказала:

— Теперь влюбишься.

— Почему?

— Душа отцова будет искать выхода.

Тогда это показалось мнѣ диким, но теперь, в сыроватых нормандских лѣсах, я точно и четко ощутил его соприсутствіе: несмотря на сырость и холодок, мой отец, умершій от плеврита, ходил с нами в китайском чесучевом пиджакѣ, позвякивал множеством своих брелоков, и я всѣх их вспомнил: серебряный — в память коронаціи, золотой — от города, мой первый зуб, малюсенькій бинокль, миніатюра средневѣковаго ключа и маленькая подкова с бриллiантовыми розами. И я думал о странных и неумѣстных вещах: я думал о том, что пьеса, написанная для театра, — безнадежна, если в ней нѣт роли для зрителя; о том, что если бы сейчас я не ощущал отца, то мнѣ было бы жутко и одиноко.

Сад этот показался мнѣ знакомым, как будто бы я и раньше когда-то бывал здѣсь и знал всѣ его входы и выходы. Я начал провѣрять это и понял, что ошибаюсь.

Наступил вечер. Рыжій керосиновый свѣт луны зажигался неохотно. Поднимался туман, сплетаясь с цвѣтом гусинаго оперенья. По прижавшейся ко мнѣ рукѣ твоей, по ея теплотѣ, проникающей через два сукна, я знал, что сегодня ночью ты будешь моей до конца, до крови. И я ни разу не ощутил обычнаго мужского торжества. Грязь, которой у человѣка вымарано все святое, ни на секунду не засорила моих жил. Не стало сильнѣе биться сердце. Не затуманилась голова. Губы не искривились самодовольной улыбкой. Я понял, что сегодня, в первый раз в жизни, я подойду к женщинѣ, как к таинству. Если бы у меня хватило смѣлости, я сказал бы тебѣ: «благословенна ты в женах и да будет благословен плод чрева твоего». Я смирился перед твоим смиреніем, перед твоим тайным ожиданіем, перед напряженностью груди, ждущей молока.

Поздно ночью я вошел в твою комнату и через мѣсяц новая жизнь начала строиться в тебѣ, из сцѣпленія двух кровей: антверпенской и россійской. Так было, вѣроятно, суждено и к этому мы неуклонно тянулись: я — через свои сорок лѣт, ты — через свои двадцать. Что-то близкое раю и царству небесному окружило мою жизнь в эти три мѣсяца, но...

Но сегодня пріѣхал директор. Мы были рады ему и он был рад нам. Я слѣдил за его глазами и по их огню понял, как богат и пышен наш рай: только теперь впервые я замѣтил, как драгоцѣнна наша посуда и каким тонкоголосым

серебром звучит серебро нашего стола. Впервые, его глазами, я разсмотрѣл тонкую рѣзьбу наших дубовых и ясеневых стѣн, венеціанскіе приборы для кофе, тонкіе дамасскіе шелка гостиной, туркестанскіе ковры. Я понял, что если убрать из жизни зависть и недоброжелательство, то это будет все равно, что убрать со стола соль и перец. Я понял и то, что я был счастлив и в ту пору, когда любил свою бѣдность: она была наполнена странным и обольстительным очарованіем.

Послѣ завтрака директор потребовал у меня отдѣльной аудіенціи и сказал, не глядя в глаза:

— Ну что ж, брат, пожалуйте бриться. Надо платить по счетам.

Я думал, что рѣчь идет о каких-нибудь финансовых осложненіях в труппѣ, но директор быстро разъяснил, в чем дѣло.

— Надо ѣхать драться. Ты же не забыл, что я — твой секундант? Теперь на меня нажимают. Векселю истек срок. Не заплатишь, — его отправят к судебному приставу.

— Сколько тебѣ лѣт? — спросил я.

— Не мало, — отвѣтил директор, боясь уронить пепел с сигары, — уже шестой десяток размѣнял.

Часов около двух ночи я поцѣловал тебя и, быть может, в послѣдній раз. Ты заснула на моих глазах. Ночной румянец, столь отличный от дневного, проступил на твоих щеках. Дыханіе твое было ровно и тихо. Ставни заперты глухо и крѣпко и ты можешь нѣжиться в теплых уютных простынях до самаго поздняго часа, прислушиваясь к тому, как образуется в тебѣ новое существо: половина твоя и половина моя. Я же прошел в свою комнату и начал писать

тебѣ это длинное письмо. И прошу тебя: если у тебя родится сын, выучи его русскому языку и в учителя возьми человѣка, родившагося в Московской или Калужской губерніи. Воспитай его в православной вѣрѣ. Живи в городѣ, гдѣ есть русская церковь. Пусть с дѣтства он поет в церковном хорѣ. Он узнает сладости осьмигласія, херувимских пѣсней, величаній, пасхальных ирмосов, литургіи Іоанна Златоуста, заповѣдей блаженства и зачинательных псалмов Давидовых. Жизнь и ум его покажут, будет он вѣрить или нѣт, но то, что он пріобрѣтет в этом наслѣдіи пѣвцов и поэтов, даже невѣрующему даст богатство и радость и в трудную человѣческую минуту поддержит его. Помни, что мір задыхается от нечистоты. Вѣроятно, я на мгновеніе задремал, ибо то, что я сейчас видѣл, было сном и смѣшным, и торжественным. В комнату вошел мой отец и с ним — ряд длиннобородых мужиков. Я догадался, что это были дѣд Василій, прадѣд Стефан, прапрадѣд Егорій и другіе, имен которых я не знаю. Всѣ они были чинны и строги и рядком, как на сходѣ, размѣстились на стульях в два ряда. Волосы их, лысины и лица были необыкновенно чисты, как будто они только что пришли из бани, гдѣ отвалялись березовыми листьями.

— Ну что ж? — начал дѣд Василій, обращаясь к отцу своему Стефану, — скажи слово.

Стефан подумал и голосом, в котором я услышал свой тембр, сурово сказал, обращаясь ко мнѣ:

— Пахал бы землю, — не было б безтолковщины. Теперь сомнѣваемся, причимать-ли внука в семью?

Я отвѣтил поклоном, каким на сходах кланяются міру:

— Будьте кормильцами, примите.

— Внук-то, сын-то твой, не от родной дѣвки, — упрекающим тоном сказал Стефан.

— Как не от родной? — спросил я, не поняв.

— Не русская-то дѣвка родит твоего сына. Смѣшиваешь кровь, дурак.

Я не знал, что отвѣтить.

Тогда, по-адвокатски, выступил отец с уставным поклоном:

— Могу сказать, отцы, что дѣвка замѣчательная. Хорошая дѣвка. И к нашему роду дюже ладная, — сказал отец с заискивающим оттѣнком.

— Ну, тебѣ с горы виднѣе, как и что, — холодновато отвѣтил Стефан. — Но теперь другая забота: — завтра этот дурак-то лоб под пулю подставляет. Что дѣлать-то?

И вдруг всѣ, хором, рявкнули:

— Ну, это не бѣды, сегодня у Миколы хлопотать будем.

И, обращаясь к отцу, добавили:

— Это уж твое особенное дѣло, на счет Миколы-то...

Стефан обратился ко всѣм:

— Ну, вот. Дѣвка-то хоть и не своя, а в род-то младенца принять надо.

— Ужь конешно, — послышались голоса, — но только пусть сначала отпляшет комаря перед стариками. Плясать будешь?

Это меня озадачило.

— Как же я буду плясать перед вами, когда нѣт музыки? — спросил я.

— Музыка будет, — отвѣтил Стефан.

Я увидѣл, что отец мой подошел к роялю и отогнул крышку. Я испугался за него, так как знал, что он не умѣет играть. Но странно: пальцы его оказались моими пальцами и я увидѣл, как они правльно, по-консерваторски, легли на клавиши. Прозвучал первый минорный аккорд и я понял, что отец начал глинковскую комаринскую. Отец был внутренне тревожен и поощрительно, как на трудном экзаменѣ, подмигивал мнѣ. Когда минорные аккорды с хитрой постепенностью начали, как молнiеносными лучами, прорѣзываться звуками веселыми и наконец полностью превратились в чистый и быстрый мажор, Стефан вдруг ударил в ладоши и запѣл:

Двадцать девять дней бывает в февралѣ,
В день послѣднiй спят Касьяны на землѣ...

Началась комаринская, рояль завилял своим длинным хвостом, в ноги мои, как пружина, вступила танцовальная сила и я не понял, что со мной дѣлается. Я видѣл, что отец прииалег на клавиши и на столбовом мотивѣ накручивал свои новыя и необыкновенно остроумныя петли, которыя, прозвучав, сейчас же пропадали, как мыльные пузыри. Эти петли лились то сверху, то снизу, басы бросались на дискантов и обратно отскакивали в свои углы, — и я чувствовал, что у меня под ногами — невод начинает рваться.

И вдруг к Стефану присоединились остальные старики и, хлопая ладонями, палец в палец, хриплыми басами нажимая на третiй слог, пѣли:

Осерчало благородiе:
Ах ты, хамово отродiе,
Цѣловальник! Дай чернильницу!

Пот лил с меня градом, правая нога окончательно запуталась в неводѣ и вдруг музыка оборвалась и я услышал голос Стефана:

— Хорошо плясал: с наклончиком, с вѣтерком.

И тут в птичникѣ гаркнул с просонья пѣтух. Все исчезло.

Я сидѣл у стола и бумага, на которой я тебѣ писал, была мокрая и буквы мѣстами расплылись. Я изумился, припомнив слова: наклончик, вѣтерок; я никогда не слышал о них, как о танцовальных терминах.

Но вот в отдаленіи зазвучал сигнал автомобильнаго гудка. Это, по условію, трубит директор.

Надо итти. Прощай или до свиданія?...

Impr. de Navarre, 11, rue des Cordelières, Paris.